

Любовник богини

Автор:

Елена Арсеньева

Любовник богини

Елена Арсеньева

После древнего обряда поклонения луне неодолимая сила влечет друг к другу дочь русского торговца Бушуева Вареньку и молодого путешественника Василия Аверинцева. Немалую роль играет в этом экзотический пряный воздух Индии. Однако молодые люди боятся дать волю своей страсти... Что, если это всего лишь дурман, морок – месть дерзким чужакам, рискнувшим взглянуть в лицо Запретному...

Елена Арсеньева

Любовник богини

Нет пламени сильнее, чем любовь!

Из «Дхаммапады»

Часть I

РУКА ПРИЗРАКА

Луна над поющим бамбуком

Она была похожа на цветок...

Она была похожа на цветок, и, хотя все кругом благоухало жасмином и туберозами: в узеньких ручейках, пронизывающих весь сад, струилась розовая вода и плыли белые и алые лепестки, сливаясь в душистые реки, – даже сквозь эту сладостную, душную завесу проникал аромат ее тела. Это был аромат редкостного, дивного цветка – прекраснее розы, прекраснее лотоса. Из лунного света, из бледного сияния звезд сотворили ее боги... Можно было сказать, что она схожа с богиней, однако стоит ли сравнивать звезду со звездой? Ведь она и была богиней.

– Дева, – сказал тот, черноглазый, облаченный в белую кисею, в белом тюрбане с павлиньим пером. – Дева...

Как ни мало знал пленник слов на этом языке, это понял сразу: дева – богиня. А все прочие здесь – ее слуги. А он – любовник богини.

* * *

Сначала, когда его, связанного по рукам и ногам, беспомощного, тащили сквозь джунгли, он думал, что его ждет участь кровавой жертвы, которые еще приносит этот дикий, мрачный народ. Однако после недолгого путешествия в лодке он очутился на острове такой красоты, что сама мысль о жертвоприношении, убийстве, боли и смерти показалась сущей нелепицей.

Остров чудился пустынным – только несколько деревьев там и сям, только цветы да заросли бамбука и сирки с разноцветными перьями верхушек, стоящих почти вровень с манговыми и другими высокими деревьями.

В жизни своей он не видел ничего грациознее! Бамбук при малейшем дуновении потрясал своими зелеными головами, словно бы увенчанными перьями невиданного страуса. При каждом порыве ветра слышался легкий и странный

звук – будто кто-то едва касался туго натянутой гитарной струны. Сначала пленник не обращал на это внимания, однако чем дальше вели его сквозь бамбуковые заросли, тем громче и отчетливее становилась мелодия.

В это время исчез с небес последний золотой закатный луч, и окрестности подернулись лиловатою прозрачною дымкою. С каждой минутою сгущались сумерки. Тени наливались бархатистой чернотой, а в небе одна за другой зажигались звезды, выстраиваясь почтительным хороводом в ожидании своей царицы – луны. И невидимый оркестр готовил ей торжественную встречу.

Чудилось, со всех сторон вокруг и даже над головами настраивались незримые духовые инструменты, звенели струны, пробовались флейты. Еще через мгновение, с новым порывом ветра, раздались по всему острову звуки как бы сотен золотых арф...

Туземцы, подталкивающие пленника, и не пытались скрывать свой трепет. Их страх был виден даже в сумраке. А пленник после первого потрясения пришел в себя и поглядывал на своих стражей с чувством насмешливого превосходства. Неужели трудно догадаться, что поет не какая-то неведомая сила, а сам бамбук, в каждом колене которого жучки просверлили большие или маленькие отверстия? В них играет ветер, превращая эти заросли в десятки тысяч свирелей, созданных самой природою. Все просто... все величаво, все непостижимо!

И вот возшла луна.

Воистину, то была луна золотая! Она испускала целые потоки света, осыпала золотом и серебром все вокруг, не пожалев своей пылинки для самой малой былинки, вся листва чудилась политой расплавленным бледным золотом... и внезапно в этом свете возник дворец, с куполом, изогнутым так плавно, словно его строители пытались повторить лунную округлость.

Потом, уже несколькими днями позднее, получше разглядев дворец, пленник решил, что его не иначе как возвели пчелы: здание было изваяно из множества ячеек. Каждая из них оказалась изогнутым зеркалом. О, это были загадочные зеркала!

Ночью, лунной ночью они оживлялись чародейством небес, а солнечный свет их словно бы и не касался: днем они буднично отражали округу, сливаясь с синим небом и зеленым бамбуком, так что несведущий человек мог пройти сквозь заросли совсем рядом с дворцом и даже не заметить его.

А он был, он не исчезал, как подобает призраку ночи, он оставался на месте, и луна не раз сменялась солнцем, постепенно приближаясь ко дню своей полной спелости, и бамбук взрывался песнями под ветром, а пленник все еще жил в этом дворце, готовясь к назначенной ему участи.

С ним всегда был предводитель его похитителей: высокий, с непроницаемым темным взором. Другие похитители удалились, даже не ступив за ограду дворца, явно испытывая священный, трепетный ужас перед этим местом. А этот, высокий, – остался. Пленник мало успел повидать индусов, однако их лица казались ему какими-то приторными, почти женственными. У этого же был лик четких, резких очертаний, скорее страстных, чем правильных. Брови сходились на переносице: казалось, лоб перечеркнут одной извилистой линией. Глаза – огромные, сплошь черные, без блеска. Пленник напрасно силился разглядеть их выражение: они ничего не выражали. Сама их пустота скрывала некую тайну, но пленник не сомневался – рано или поздно тайна сия будет ему открыта. Для этого он и привезен на остров!

Черноглазый всегда был одет в белое, слегка отливающее серебром. Он всегда являлся так внезапно, словно и его вызывал к жизни лунный свет. Однако пленник знал, что незнакомец следит за каждым его шагом.

Впрочем, насчет шагов – это очень смело сказано. Ведь большую часть времени пленник был недвижим. Его держали прикованным к постели ночью и днем, разнимая оковы только для омовений и еды, а иногда – для участия в собственных пытках. Еда, в общем-то, тоже была пыткой. Все баснословные кушанья сказочных туземцев противоречили представлениям пленника о съедобном. Ему казалось, что ни один европеец в здравом уме... да что! – ни один человек в мире, кроме индусов, не отважится подкрепить себя подобной пищей. Их стол состоял из плодов и овощей, но до того приправленных духами, маслами и сахаром, что становилось тошно. Возьмешь кусок в рот – и подумаешь, что раскусил или мускус под лампадным маслом, или фиалковую помаду, или неаполитанское мыло. Перед тем как попасться похитителям, пленник долго голодал, потом наелся до отвала, а теперь опять вернулся к

ощущению постоянного, неутраченного голода. Впрочем, на своем еще не очень долгом веку ему довелось много чего испытать, он был непривередлив, так что голод, по его мнению, был не самым мучительным звеном в цепи тех издевательств, кои ему приходилось претерпевать. Поистине, только ум врага рода человеческого мог измыслить подобное!..

Все началось первой же ночью. Не отвечая ни на один вопрос, не поддерживая попыток иноземца сплести в единое целое обрывки недавно изученного хинди, приправленного полузабытым университетским санскритом, молчаливые слуги, все одеяние которых составляли лишь полоски ткани округ чресел, по приказу черноглазого повлекли пленника во дворец и, не дав насладиться созерцанием роскошного убранства, втолкнули в розовую мраморную залу с большим углублением в полу. Углубление было заполнено водой, и, когда пленника опустили в эту душистую теплоту, ему почудилось, будто он попал прямо в рай.

Глупец! Он еще не знал, что очутился в аду!..

Слуги отступили от бассейна и стали вокруг, сложив на груди руки и не сводя глаз с разнежившегося чужеземца.

Послышалось легкое шлепанье босых ног, и в круг мужчин вошла смуглая девушка с черными волосами, закрученными на затылке. На запястьях и щиколотках у нее были надеты тонкие серебряные браслеты, и они составляли все ее одеяние. Судорожно сглотнув, пленник уткнулся на ее нежный живот, под которым не было привычного темного треугольничка. Ее сокровенное было лишено растительности, и пленник на некоторое время всерьез предался размышлениям, удалены ли волосы насильственно или же здешние красавицы такими гладенькими рождаются. Он знал, что у некоторых северных народов женщины совершенно лишены волос на теле, однако видел такую даму впервые. Пожалуй, именно даму – юной девушкой назвать ее было нельзя: слишком зрелыми, полновесными были ее груди, слишком густо, вызывающе накрашено лицо, да и смелость, с какой она скользнула в водоем к нагому мужчине, наводила на мысль об опытности. И о бесстыдстве, ибо происходило сие под пристальными взорами стражи.

Пленник нервно поджал колени к подбородку, скрывая признаки своего волнения, однако нескромница и не собиралась его ласкать. Она взяла лежащий на краю бассейна ком какой-то мягкой ткани и знаком показала, что хочет помыть пленнику спину.

А, так сия бесстыжая была всего лишь банщицей! Ну что ж, коли так... Он, прибодрясь, повернулся спиной – и довольно улыбнулся, когда почувствовал, как сильные руки растирают усталую кожу. Так и быть, пускай уж девка потрет ему спину, а спереди он сам себя помоеет. Не хватало еще...

И тут мысли его прервались, потому что проворные руки банщицы принялись растирать его грудь, а ее твердые груди тесно прижались к его спине.

О господи! Он замер, не в силах оттолкнуть ее, ощущая только, как поводит она плечами, прижимаясь все теснее, а потом и живот ее, и нагое межножье прильнули к его ягодицам. Пленник едва не вскрикнул.

Она приставала к нему! Она нагло, откровенно приставала к нему на глазах доброго десятка посторонних мужиков, равнодушно глазевших в бассейн!

В зале было сумрачно, и пленник от души надеялся, что им видно не все, творившееся под водой. Он изо всех сил старался удержать на лице маску равнодушия, но из-за грохота крови в ушах почти ничего не слышал, да и перед глазами все плыло, плыло...

Окаянная девка меж тем оказалась еще большей развратницей, чем можно было предположить. Она перестала притворяться банщицей, отбросила и свою тряпицу, и всякий стыд и принялась щекотать купающегося не хуже заправской русалки.

Но нет, это была вовсе не та щекотка, от которой человека скручивают судороги неостановимого хохота. Только теперь пленник понял, что попавшие в цепкие руки русалок умирают вовсе не от смеха! Она гладила его, терла, щипала, она поцарапывала ногтями его соски, она разминала ему живот, а потом руки ее внезапно скользнули вниз, стиснули изнемогающее от нетерпения мужское естество – и пленник с хриплым стоном судорожно извергся в дерзкую ладонь...

Тотчас он был отпущен. Девушка проворно выскочила из бассейна и стала перед черноглазым, склонив голову и сложив свои распутные ладошки в молящем жесте. Почти не размыкая узкого рта, черноглазый что-то проговорил... нет, буркнул с отвращением. Девушка гибко склонилась к его ногам, выпрямилась и ускользнула, а темный взор обратился к пленнику.

Не таким уж непроницаемым был сейчас этот взор! В нем явственно читалось презрение, и пленник так и вспыхнул от злости.

Какого черта?! Почему этот разбойник позволяет себе так на него смотреть?! Что он такого сделал? Поглядеть еще, как заплясал, задергался бы этот черноглазый черт, когда сия бесстыдница схватила бы его своими проворными пальчиками за... вот именно, за это самое! Причем совершенно очевидно, что девка действовала по его приказанию. За что же он на нее так злобно рыкнул? Или ожидал, что пленник оттолкнет ее? Будет сидеть с вялым, скучающим выражением лица, в то время как сия искусная музыкантша перебирает лады? Да, конечно! После трехмесячного воздержания какая оборона выдержала бы? Он, слава богу, не кастрат!

Очевидно, туземец почуял, о чем думает пленник, потому что взор его вновь сделался холоден и таинственен. Он подал знак. Стражи вытянули иноземца из воды, накинули на него какую-то ряднину, повлекли за собой. На пленника вдруг навалилась страшная усталость, ноги его заплетались, и он едва тащился сквозь череду покоев, почти не видя окружающего. Наконец его ввели в зал с одним только ложем под балдахин. Со стоном наслаждения пленник простерся на мягких пуховых перинах. И только утром обнаружил, что руки и ноги его закованы.

* * *

Что хуже всего, ему никак не удавалось взять в толк, к чему все это деется. Зачем его держат в цепях на этом роскошном ложе, в этом подавляющей своей красотой покое: ослепительной белизны стены с панелями, покрытыми мозаикой – гирляндами прелестнейших цветов из драгоценных камней? Конечно, его развязывали: попить, поесть, искупаться (девку в бассейн больше не присылали). Поначалу он только и чаял вырваться, раскидать стражу, сбежать, но... Когда начинал буйнить, вся эта смуглокожая братия наваливалась со всех сторон. С первого раза он их всех разнес по зауголочкам, так что они сделались

умнее: один неуловимым, рассчитанным движением накидывал на горло бунтовщика платок и таково-то брал за хрип, что надо было выбирать: или полечь тотчас же, тут же, ни за что ни про что, или отступить перед явно превосходящими силами противника – покуда отступить. Ну, приходилось отступать... для того чтобы вороги вволю натешились своими извращенными причудами.

Пленник был человеком по своему времени и положению образованным, ему приходилось читать о китайцах. Скажем, вот китайская пытка: человеку выбривают макушку и начинают ему на темечко ледяной водой капать. Кап да кап. Кап да кап... и опять кап да кап... И через самое малое время страдалец сходит с ума. Опять же китайцы удумали: преступник лежит связанный по рукам и ногам, а пытатели ему на брюхо ставят и накрепко привязывают опрокинутый глиняный горшок. Ну, горшок и горшок: какая в том беда? А в том беда, что под горшок сажают живую крысу. И никак ей иначе не выбраться, как прожрав себе путь сквозь человеческое живое, бьющееся, орущее тело. Китайцы мастаки были на такие придумки, да и свои, родимые, не плошали при надобности... Но пленнику иногда казалось, что легче с крысой на животе, чем с вечно мучимым, неуголенным, страдающим, переполненным страсти орудием!

Нет, его больше никто не ласкал, но ведь не одними только прикосновениями можно довести мужика до исступления. Глаза человеку Господом для того дадены, чтобы видеть. Не хочешь видеть – можно зажмуриться или отвернуться. Но когда за каждую такую попытку получаешь от стражи короткий, но болезненный, отнимающий дыхание удар под ребра, глаза сами собой на лоб лезут. И видят такое, что оторвать их уже невозможно...

Однажды к нему привели девушку. Это была не распутница из бассейна, а может быть, и она – кто их разберет, туземок? На его взгляд, они все были одинаковые. У этой, как и у прочих, глаза огромные, подведенные, губы горящие от кармина, во лбу карминовый кружочек. Смоляные гладкие волосы загибались на щеках колечками. Голова была увенчана жасмином, изящное широкобедрое тело обернуто золотистой тканью, такой тонкой, что она почти ничего не скрывала от жадного взора. Во всяком случае, видно было, что у незнакомки разрисованы цветами груди, а вокруг укромного местечка (тоже голенького, гладенького, как у той, первой) изображен жадно разверстый рот, который то растягивался в сладострастной ухмылке, то разевался похотливо, то сжимался жадно – в лад с отточенными движениями танцующего тела.

Сначала пленник просто любовался ею. Игривый взор, мелодичное позвякивание множества браслетов (руки были унизаны до локтя, а ноги – чуть не до колен), движения исполнены грации и изящества... Постепенно танец ускорялся. И пленник почувствовал, как напряглось его тело, ответив на страстный, откровенный призыв, который выразался в самом легком подергивании накрашенных губ, переборе пальцев, движении ладоней, повороте головы, притопывании босых ног с перстнями на пальчиках, даже вращении глаз. Она сжимала ноздри, она дрожала ресницами, она отступала и наступала. При одном резком повороте танцовщица изящно выскользнула из своей одежды, обнажив смуглое, цвета корицы, тело с такой тонкой талией, что дивно было, как она не переламывается в этих резких поворотах, полупоклонах, откидывании назад, когда кончики накрашенных грудей вызывающе смотрели ввысь, а бедра так и ходили ходуном в чувственном вращении. Алый рот меж ее чресл исторгал пронзительные призывные звуки: обыкновенный человек не смог бы их уловить, но пленник, возбужденный, соблазненный, лишенный власти над своим телом, измаялся, внимая этому чувственному зову, на который он жаждал ответить – и не мог! Когда он лихорадочно забился на постели, девушка резко остановилась, подхватила с полу золотистый шелк и исчезла меж колонн.

Вошел черноглазый, внимательным холодным взором окинул пленника, словно опытный оружейник, оценивающий размеры и мощь меча, – и удовлетворенно кивнул.

– Бык, – произнес он. – Крепкий, могучий бык. Звезды указали на тебя... ты изведаешь блаженство!

Пленник не поверил ушам, услышав эту тираду. Должно быть, он чего-то не понял: подвело знание языка. Но переспросить было некого: черноглазый уже удалился, оставив измученного пленника в покое... до новой ночи.

Однако дни его тоже трудно было назвать спокойными! Перед ложем поставили ширму. Она сначала показалась пленнику невеликой, но, когда ее развернули (трудились все десять стражей – верно, ширма была немалой тяжести!), она оказалась огромной, как ворота. Ширма была из тонко вырезанного, будто кружево, эбенового дерева и удивительно красиво инкрустирована медными и серебряными пластинками, а также множеством барельефов из слоновой кости.

Пленник, раз глянув, уже не мог отвести от них взор. Такая невероятно сложная, дорогостоящая, тонкая и изысканная работа имела целью запечатлеть все, что только может себе вообразить самое разнузданное сладострастие. Видно, у художника было невероятное воображение, потому что ни одна поза любовников на диковинных пластинах не повторялась.

Ширму расставили так, что она окружала ложе пленника со всех трех сторон, и, куда бы он ни глянул, везде окружали его тела, творящие любовь.

А ночью пришел черноглазый. Он был не один: с ним было пять нагих красавиц, и пленнику почудилось, будто у него сделалось помрачение ума: все девушки были одинаковы, все напоминали и любительницу игр в водоеме, и танцовщицу. Черноглазый тоже был обнажен – только голова прикрыта белоснежным тюрбаном, – и пленник с невольным мужским превосходством поглядел на его стебелек. Ничего особенного. Забора не прошибет, это уж как пить дать! То-то этот черноглазый вчера так поглядывал на его оснастку – не иначе с завистью!

Однако очень скоро его хвастливая усмешечка пропала, а уста искривила боль. Страданий, подобных нынешним, он еще не испытывал, потому что на его глазах чертов туземец бесчисленно любострастничал: сначала с каждой женщиной отдельно, а потом со всеми враз, и не было, чудилось, изображения на ширме, которое не воплотилось нынче в живые, страстные, стонущие картины. И как ни помутнен был рассудок пленника, как ни был он истерзан невозможностью оказаться на месте своего «наставника», он не мог не восхититься – или ужаснуться – сдержанностью черноглазого, который раз за разом удовлетворял всех женщин: по одной, по двое, по трое, сам оставаясь (по крайней мере внешне) совершенно спокойным – с этим его непроницаемым взором и презрительно сжатым ртом, который размыкался только для поцелуев. Иногда его взгляд скользил по пленнику, испытывающему муки, по сравнению с которыми все страдания Тантала – просто детский лепет, – и наступало мгновение отрезвления: в черных глазах туземца светился откровенный вызов! «Ты, белый человек, – словно бы говорил он, – мнишь себя центром Вселенной... Все белые люди таковы! Ты явился в наши земли, заранее уверенный, что превосходишь нас изощренностью своего ума, силою своего насмешливого, циничного нрава. Но я сильнее тебя! Я превосхожу тебя тем, чего ты просто не ведаешь... не ведал никогда и никогда не изведает. Я умею владеть своими желаниями. Я господин их, ты – их раб. Жалкий раб!»

Он был жалким рабом своих желаний... он с содроганием смотрел, как «наставник» любодействовал с пятью девушками сразу, причем одна из них оседлала его, полусидящего на подушках, и вступила в самозабвенное единоборство с его воином, в то время как остальные четыре любовницы вкушали наслаждение, которое доставлял им черноглазый, порхая по их цветкам пальцами рук и ног. Пленник смотрел – и был рабом желания оказаться сейчас на месте «наставника»!

Любовная игра была окончена, едва черноглазый заметил, что пленник уже окончательно изнемог. В одно мгновение доведя всех красавиц до экстатических стонов, он знаком велел им удалиться, а сам поднялся с подушек и предстал перед пленником во всей своей вызывающей наготы. Пленник уже догадывался, что величайшее наслаждение его мучитель испытывал в отречении от своих желаний, в собственном истязании, – и почти сверхъестественным усилием заставил себя поглядеть на него спокойно и холодно.

Этот поединок взглядов длился долгую, бесконечную минуту, а потом губы «наставника» дрогнули в усмешке.

– Неисполненные желания разрушают человека изнутри, – промолвил он. – Но успокойся: твои страдания закончены. Завтра дождь – возлюбленный земли – сможет пролиться на ее ждущее лоно!

– Чье? – пробормотал пересохшими губами пленник, в воспаленном мозгу которого промелькнули поочередно все пять красавиц, виденные им нынче, от банщицы до танцовщицы: которая же из них утолит его жажду?

Мгновение «наставник» смотрел на него с откровенным презрением, потом что-то глубоко страдальческое и вместе с тем зловещее промелькнуло в черной глубине его глаз:

– Тебе предначертано стать любовником богини.

* * *

О, как пел в тот день бамбук! Лишь только повлеклось к закату огромное раскаленное солнце, зазвенели вдруг со всех сторон турецкие колокольчики, зазвучали веселой, быстрой мелодией, под которую ноги так и норовили пуститься в пляс. С другой стороны острова доносился протяжный вой: заунывный, грустный, словно жалоба волчицы, утратившей детенышей. Издали неслась как бы песнь человеческого голоса, переходя в плавные звуки виолончели и заканчиваясь не то рыданием, не то глухим хохотом. А всему этому вторило с четырех сторон насмешливое эхо.

Нервы пленника были натянуты как струны и словно вибрировали в лад этой нечеловеческой музыки. Он с трудом сохранял на лице маску спокойствия, с трудом сдерживался, чтобы не вырваться из цеплявшихся за него рук...

Это были все те же смуглые красавицы, которых он уже видел. На сей раз все они были вполне одеты, ежели можно назвать одеждою коротенькие, выше талии, рубашечки, туго обтягивающие грудь, и намотанный вокруг бедер в несколько ярусов полупрозрачный серебристо-белый шелк. Однако, словно решив вознаградить себя за вынужденную скромность одеяний, девицы надели столько украшений, что все открытые участки тела были почти сплошь унизаны широкими золотыми поясами, обручами, цепочками, бесчисленным количеством браслетов и колец. Серьги спускались до самых плеч, и, словно красавицы задалась целью всенепременно похвалиться всеми своими драгоценностями, каждая из них продела по кольцу еще и в нос! Эта несусветная причуда надолго приковала внимание пленника, и он так озаботился вопросом, не больно ли красавицам, а главное, почему прежде незаметно было на их хорошеньких, остреньких носиках дырок для этих кошмарных подвесок, – что даже несколько поуспокоился. Тем паче что девицы нынче не позволяли себе никаких плотских вольностей, а вели себя так, словно он был идолом, которого надлежало тщательнейшим образом приготовить к празднеству и поклонению. Разумеется, все свершалось под неусыпным надзором конвоя, разнаряженного в прах, однако не утратившего ни малой толики свирепой бдительности: пальцы так и плясали на рукоятях мечей, а глаза стерегли каждое движение пленника.

Он подчинялся, неприметно озираясь и каждое мгновение ожидая удара клинком под ребро или чирканья по горлу. Черт их разберет, этих черномазых, что у них означает «сделаться любовником богини». Может быть, у него вырвут сердце и поднесут какой-нибудь раззолоченной идолице на серебряном блюде! Хотя... во вчерашних словах черноглазого не было и намека на убийство, скорее наоборот. Словом, пленник принял уже привычную выжидательно-

разведывательную позицию и не противился ни в чем.

Сначала его повлекли в бассейн и, поставив на дно мраморной чаши, несколько раз окатили разноцветными водами, причем голова сразу же мучительно заболела и пошла кругом от удушающего аромата розового масла. Теперь он благоухал, как девка в веселом доме, готовая к встрече покупателя ее прелестей, с яростью подумал пленник – и вздохнул с облегчением, когда ему было дозволено выйти из сладкого водоема. Он стоял – мокрый, голый – и смотрел, как девушки толкли в больших ступках желтый имбирь. Потом они размочили его в воде и принялись обмазывать пленника со всех сторон. Он дернулся было оттолкнуть их, смахнуть с себя эту гадость, однако тотчас же клинок изрядных размеров оказался прижат к его горлу, и пленник, скрежетнув зубами, мученически завел глаза: черт, мол, с вами, делайте что хотите!

Изжелтив нагое тело с ног до плеч, пленника снова повлекли в бассейн и опять принялись окатывать водой. На сей раз вода была прозрачная, и ее аромат не вызывал тошноты. Он был скорее горьковатым, влажным, волнующим... Ноздри пленника задрожали.

Его снова вывели из бассейна, осушили мягкими шелками и принялись одевать. Пока трое занимались облачением, две другие девицы, вооружась каждая свернутым в трубку листом лотоса, капали ему на голову воду. Мысль о китайской пытке снова промелькнула в усталом мозгу, однако что-то подсказало пленнику, что это вполне невинный обряд: может быть, приношение водяным богам. Ладно, пусть их! Он раздраженно отер с лица ручеек и без сопротивления позволил нарядить себя в розовые шаровары и бледно-розовый тюрбан с бриллиантами. Среди туземцев, облаченных в белое, он чувствовал себя нелепой игрушкой, конфетой в ярком фунтике, нарядной безделушкой... словом, сущей бабою! Вдобавок на него напялили еще и прозрачную белую распашонку. Пленник стискивал кулаки и поджимал пальцы на ногах на случай, если начнут надевать перстни: стража вся сверкала и переливалась множеством золотых и бриллиантовых украшений.

«Пусть лучше голову проломают, но серьгу в нос совать не дам!» – мрачно посулил он сам себе. Однако похоже было, что любовнику богини сие по чину не полагалось, и пленник смог перевести дух.

Его окуривали тлеющим сандалом, когда появился черноглазый: тоже весь в белом, блистающий бриллиантами так, что смотреть было больно. Не взглянув

на пленника, сделал знак – стража встала плотно, шагу в сторону не сделаешь! – и этот сомкнутый строй замаршировал по дворцу. Что-то подсказывало пленнику, что он последний раз видит белый мрамор, красный порфир, причудливую мозаику, кружево резьбы. С кривой улыбкой окинул он взором опостылевшее великолепие, и вдруг впервые пронзила его мысль о дальнейшей участи.

Что сделают с ним потом, когда он уже исполнит свое «предначертание»? Не потому ли он не сомневается, будто не воротится сюда, что предчувствует свою гибель? Ах, вырвать бы у одного из этих сверкающих идолов клинок, да было бы где размахнуться руке, – тогда еще неизвестно, кто оказался бы возлюбленным богини Смерти нынче ночью! Но, похоже, стража не испытывала к нему никакого почтения, несмотря на величие его «предначертания», потому что все сабли были угрожающе обнажены и при малейшей заминке легонько покалывали кожу. «Надо надеяться, они не перестараются и я не явлюсь к даме весь в кровавых пятнах, будто комаров шлепал!» – фыркнул пленник – и удивился, как стало легче на душе.

Они вышли на веранду. Луна еще не всходила, однако черное небо было сплошь покрыто звездами, и пленник без труда разглядел стройные зеленые фикусы и высокие перистые тамаринды. Под одной из пальм раскинулся пруд, в котором нежились лилии и лотосы, а над прудом стояла беседка.

Пленник всмотрелся. У входа в беседку склонялись в поклоне прислужницы, а в глубине ее виднелась неясная фигура, с головы до ног укутанная серебристой вуалью, такой плотной, что очертаний тела было не различить.

Сердце глухо, тревожно стукнуло...

Пронесся порыв ветра, возвещающая скорое появление луны, и примолкший было невидимый бамбуковый оркестр разыгрался пуще прежнего. Полились звуки, неудержимую волной нахлынули. Сквозь свист морской бури, гул волн, завывание снежной вьюги прорвались величественные аккорды органа и загремели, заглушая все вокруг: то сливаясь, то расходясь в пространстве, наполняя душу страхом и восторгом враз.

Только теперь пленник заметил, что луна уже вошла. О боже! Волшебная краса!словно царь Мороз пролетел над дворцом и покрыл его стены узорчатым инеем! У пленника дух захватило, но ему не дали времени на созерцание и втолкнули в беседку.

Да, дворец был великолепен, но это... снова белый мрамор, снова мозаика из бриллиантов и сапфиров, но еще и потолок затянут темно-голубой тканью, а для того, чтобы совершенно уподобить его небу, усеян драгоценными камнями вместо звезд. Воистину, обиталище достойно богини... если эта высокая фигура, скрытая белым, богиня.

Она не тронулась с места при его появлении. Резко пахло курительными палочками; их светлый дым то стелился над серебристо-белым полом, то взмывал вверх, словно зачарованные змеи, обвивая неподвижную фигуру. Она не шелохнулась – только тихо вздохнула, и пленник вдруг остро, почти болезненно ощутил, что там, под этим покрывалом, – женщина и она ждет... ждет его!

Черноглазый с поклоном приблизился к богине, протянул ладонь. Заиграли, замерцали складки покрывала: из-под них показалась тонкая бледная рука. Эту руку черноглазый соединил с рукою пленника, обвив их какой-то длинной травой, а затем два стражника выступили вперед, держа по чаше с жидкостью, игравшей лунным, опаловым блеском. Пленник отворотился было от края, прижатого к его губам, но темные лица туземцев позеленели, а глаза заискрились недобрым фосфорическим огнем.

– Не страшись, – едва слышно произнес «наставник». – Ты должен быть возбужден к соитию приношением жертвы возлиянием. Подумай о том, что тебя ожидает. Цветами осыпаны ноги богини, плодоносно ее прекрасное тело. И над всем этим ты господин нынче ночью! Принеси жертву – и уподобься богу Индре, который просверлил устья рекам и рассек мощные чресла гор!

Пленник выпил из чаши, от волнения не чуя вкуса. Он хотел посмотреть, как будет пить богиня сквозь свое покрывало, и, сделав последний глоток, обернулся – чтобы покачнуться от резкого приступа головокружения: она уже была без покрывала, она смотрела на него!

Единственным ее одеянием были гирлянды белых цветов вокруг бедер и на голове, и сама она была похожа на белый лунный цветок. В ослепительном серебряном свете серебрились ее волосы и глаза, и пленник был потрясен, заметив, как лунно, нежно светится ее полунагое тело, в то время как тела танцовщиц и стражей казались еще более смуглыми, почти черными. Воистину, она была богиня... и сердце пленника перестало биться, когда он осознал, что эта волшебная красота сейчас будет принадлежать ему.

Прислужницы подступили к нему, совлекая одежды. Мелькнула мысль: стоило ли так тщательно его наряжать, чтобы так быстро снять все наряды, – но это была последняя мысль, связанная с тщетой человеческого существования.

Он трепетал, как бамбук под ветром, и все тело, все существо его, чудилось, источает песнь разгорающейся страсти.

Но пленник вдруг осознал, что не сможет овладеть богиней здесь, на глазах настороженно-покорных стражей, прислужниц – и особенно «наставника», под его нравоучительные постулаты. В памяти мелькнули сладострастные картины, зреть которые его принуждали. О нет, он не ученик, который покорно исполнит навязанный ему урок! То, что произойдет между ним и богиней, будет принадлежать только им двоим: мужчине и женщине. Да, он станет любовником богини... но ведь и богиня сделается любовницей человека!

Стража посторонилась – возможно, для того, чтобы им было просторнее возлечь на усыпанный подушками и устланный шелковыми коврами пол. Пленник не мог не воспользоваться удачей. Мгновения хватило ему, чтобы подхватить богиню на руки и, в два прыжка достигнув водоема, рухнуть вместе с нею в серебряно-белую, искристую, исполненную лунного сияния воду.

Странные, неверные лунные тени заиграли на взвихренной волне, сливаясь в причудливые узоры, и пленнику, опьяневшему от желания, почудилось, будто водоем полон другими парами, также безумными от любви, и вот уже все начали творить любовь – сначала едва касаясь, подобно мотылькам, а потом сплестясь в тесное кольцо, будто змеи.

Но лунный свет сыграл с пленником дурную шутку. Ослепленный, он потерял осторожность и слишком стремительно привлек к себе богиню. Ноги их сплелись, его меч раздвинул драгоценные врата... богиня вскрикнула,

опрокидываясь в волны, – и пленник понял, что одним мощным ударом своего клинка вскрыл накрепко закрытую раковину девственности.

О, если бы он понял! Если бы он только смог понять! Он-то думал, что богиня искушена служением любовников, а она... невинное дитя, доставшееся неосторожному грубому святотатцу!

Он был так поражен, что даже забыл на миг: сам-то не получил удовлетворения и освобождения. Но сейчас это как бы ничего не значило. Луна светила богине в лицо, и глаза чудились серебряными. Капли на ее лице – это вода или слезы? Он осушал их губами бережно, едва касаясь, вновь пьянел от прикосновения к ее телу.

Он взял богиню на руки и поцеловал. Она коротко вздохнула, будто всхлипнула, и губы покорно приоткрылись. В глубине ее рта таился нектар страсти, и пленник упивался им до тех пор, пока дыхание богини не прервалось.

Никогда он никого не целовал так, как ее! Он просил прощения поцелуем и клялся в вечной любви, он сулил безмерное блаженство и умолял довериться ему, он повествовал ей о тех райских восторгах, которые ждут их в саду наслаждений... Чудилось, всю жизнь свою, все ожидание любви открыл он ей этим поцелуем! И она открыла ему свой страх, и желание изведать неизведанное, познать непознанное, и, когда она оторвалась от его губ и откинулась на ложе лунной волны, он уже знал: она готова принадлежать ему всецело и радостно примет его приход.

Серебряный чистый свет лился с небес потоками, словно поцелуи и любовная игра преобразили Вселенную и открыли в ней некие тайные врата, куда войти могут лишь двое – двое избранных для любви.

Он привлек ее к себе. Где-то на краешке сознания мелькнуло воспоминание о страже, «наставнике», танцовщицах, легкое удивление, что они даже не попытались укротить его своеволия... Впрочем, окажись они сейчас рядом, вцепись в него, угрожай всеми своими саблями и немедленной смертью, все равно не смогли бы разнять сплетенные, будто два вьющихся растения, тела, разомкнуть объятий рук, грудей, бедер, ног.

До слуха донесся сладостный звук органа, и пленник мимолетно улыбнулся, не зная, то ли бамбук под ветром поет, то ли любовь, творимая под луной, источает волшебные мелодии.

Какая-то пелена медленно опускалась на них. Это был сон или легкая сеть... пленник не знал. Он тонул, он медленно умирал, но последним касанием, последней дрожью немеющих пальцев еще цеплялся за ту, которая была ему теперь дороже жизни, – за свою богиню, которая стала его любовницей.

2

Священные воды Ганги

Ночь угасала. Ни одного облачка не было видно на небе, где одна за другой меркли звезды. Свет наливной луны поблек; на востоке загоралось первое зарево рассвета. Все светлее, все синее становилось еще сонное небо. На нем мрачно темнели очертания древних храмов: не то вечно спящих, не то вечно и нелюдимо бодрствующих. Звезды таяли, таяли в синей глубине. Царица ночи величаво опустилась за дальние горы. И вдруг, без малейшего перехода от тьмы к свету, над горизонтом затрепетал краешек солнца, и тотчас же багрово-огненный шар вынырнул на востоке, на миг приостановился, как бы озираясь, а затем дневное светило очутилось высоко над землей, мгновенно рассеяло мрак и охватило своими огненными объятиями весь мир. Осветились храмы и дворцы, палатки и бамбуковые навесы, великолепные сады, уступами спускавшиеся к реке. Лысый аист низко пролетел над рекой, словно приветствуя толпу народа, стоящую на берегу. Кого здесь только не было! Старики и зрелые мужчины, старухи в черном и белом, юные женщины, в своих разноцветных одеждах казавшиеся охапками цветов, брошенными на берег широкой зеленовато-голубой реки... К берегам пристроено было множество маленьких деревянных плотиков, на которых стояли дети. Они плескали на себя воду, ожидая, пока родители возьмут их на руки и войдут в священные воды для омовения.

Молодая девушка распустила волосы и полоскала их с той же важностью, с какой старый аскет мыл свою седую бороду и морщинистое лицо...

Брамины в белом, голоногие и простоволосые браминки, воинственные кшатрии и жалкие шудры – представители всех каст стояли в Ганге бок о бок, равные перед божеством, а потом, выйдя из воды, садились под какой-нибудь навес и отдавали свой лоб на волю художника, который расписывал его синей и красной краской, увековечивая касту, к которой принадлежит человек. Разносчики со множеством пустых кружек, подвешенных на шестах, вбегали в реку, погружаясь чуть ли не с головой, выбегали с уже полными посудинами и со всех ног спешили разнести воду по улицам. Один из них налетел на какого-то оборванца, недвижимо стоящего у самой воды, всеми толкаемого, глазевшего на происходящее с таким изумлением, словно только что народился на свет и ничего не ведал об обычаях утреннего омовения водою священной Ганги, кое непременно для всех индусов, без различия происхождения, касты и вероисповедания.

Разносчик пренебрежительно глянул на зеваку. На его лбу не было знаков касты, поэтому разносчик на всякий случай насторожился. Вишну-охранитель, а если это какой-нибудь неприкасаемый? Лучше держаться от него подальше!

Рядом с оборванцем стояли странствующие монахи в своих длинных одеяниях, и разносчик вздохнул с облегчением: эти никогда не встанут рядом с парией, а если так, он тоже не осквернен.

Желая отомстить за мгновение страха, он ловко сорвал одну кружку со своего шеста и выплеснул ее прямо в лицо оборванцу. По серой пыли, сплошь залепившей этот задумчивый, растерянный лик, полились грязные ручейки.

Громко выкрикнув что-то неразборчивое, бродяга отер лицо руками, и разносчик воды удивился светлому цвету его кожи. Странный человек дрожал и в изумлении смотрел на золотое, красное, червонное солнце, от которого исходил неистовый жар.

– Что, замерз? – захохотал разносчик. – Или забыл, что священная Ганга свежа от близости горных снегов?

– Священная Ганга... – тупо повторил оборванец, с трудом ворочая языком. – С каких гор?..

«Опился пальмовой водки!» – наконец понял разносчик причину растерянности зеваки и только фыркнул в ответ:

– Не знаешь, так спроси у Ганги, она, может быть, тебе ответит.

– Какой это город? – едва шевеля языком, проговорил зевака. – Где я?

Разносчик хихикнул. До чего весело начинается утро! Не знать, в каком ты находишься городе, – это же в голове не укладывается! А впрочем, его голова должна быть занята совсем другим. Пусть-ка она лучше заставит ноги бежать по делам!

Разносчик поправил на шесте кружки, из которых уже изрядно выплеснулось воды, бросил прощальный взгляд на бродягу – да так и обмер. Тот зачерпнул в обе горсти воды и несколько раз плеснул в лицо, а когда выпрямился, каша из грязи и пота была уже смыта, и разносчик увидел чеканные черты, белую кожу и светлые глаза.

Адити, мать богов, которую призывают на рассвете! Разносчик замер с приоткрытым ртом. Столь белолицы могут быть только парсы-огнепоклонники, однако у них черные глаза и волосы черные, а у этого из-под грязной тряпки, долженствующей изображать подобие тюрбана, выбивается мягкая светлая прядь. И щетина на щеках, и брови у него светлые, но главное – глаза: точь-в-точь такого цвета, как вода Ганги! Таких глаз не бывает ни у южных индусов, ни у моголов[1 - Название жителей северной Индии, перешедших в мусульманство, и вообще всех мусульман.] – только у бхилли. Но бхилли никогда не заходят в города: они прокляты Махадевой-Шивой. Такие глаза могут быть еще у белых сагибов: английшей или френчей. И волосы у них светлые. Но этот человек выглядит как одержимый.

Разносчик на всякий случай попятился, однако бродяга оказался проворнее и вцепился своими белыми пальцами в его плечо:

– Погоди-ка! – Он говорил на хинди, однако слова произносил нелепо. Впрочем, разносчик понимал его без труда. – Скажи все-таки, какой это город?

– Ванаресса, – ответил разносчик, осторожно поводя плечом и пытаясь вырваться, но сагиб-бродяга держал его крепко.

- Ванаресса? – повторил он в недоумении. – Нет, не знаю такого города.

- А какой же ты знаешь? – удивился разносчик скудости его познаний.

Иноземец свел свои размашистые светлые брови, напряженно пытаясь что-то вспомнить, и вдруг радостно выкрикнул:

- Беназир! Я знаю Беназир! Это далеко отсюда?

Разносчику никогда в жизни так не хотелось расхохотаться, как сейчас, однако что-то было в выражении лица этого бродяги, что остановило его. Поэтому он мысленно приложил палец к губам, а вслух произнес со всей возможной учтивостью:

- Ты можешь прямо сейчас отправиться в путь, но, даже если пойдешь по кругу, не затратишь и дня, чтобы воротиться обратно. При этом ты выйдешь из Ванарессы, а вернешься в Беназир!

Глаза разносчика озорно сверкнули. Жаль будет, если белый сагиб окончательно повредился головой и не сможет оценить изысканности и тонкой двусмысленности ответа!

Однако светлые глаза расширились в восторженном изумлении:

- Ванаресса – это и есть Беназир? Неужели?!

- Конечно, – хмыкнул разносчик. – Моголы называют наш город Беназир, а мы, дравиды,[2 - Коренное население южной Индии, исповедующее индуизм.] зовем его по старинке: Ванаресса. И все довольны. И никто не теряется ни в том городе, ни в этом.

- Надо думать, ты их оба хорошо знаешь? – усмехнулся белый сагиб, и разносчик наконец-то дал волю смеху:

- А то! Я ведь вырос на улицах Ванарессы! Я разношу воду священной Ганги с тех пор, как себя помню. И мой отец был разносчиком воды, и мой дед, и отец

деда, и его дед... Мы, вайшии, – торговцы, ремесленники, земледельцы, – конечно, очень небогатые, но все-таки произошли из живота великого Браммы, а не из его ног!

Зеленовато-голубые глаза растерянно моргнули. Похоже было, что иноземец на сей раз ничегошеньки не понял!

– Ты что? – недоверчиво спросил разносчик. – Ты разве не знаешь, что из ног Браммы произошли шудры, а они все равно что придорожная пыль? Даже если я буду умирать от голода и жажды, я не приму ни куска, ни глотка из грязных рук шудры!

– А если он помоеет руки? – задумчиво спросил сагиб, и тут настал черед разносчика таращить глаза:

– Кто?

– Ну, шудра, – нетерпеливо пояснил иностранец. – Если шудра помоеет руки, ты примешь у него кусочек или глоточек?

– При чем тут руки? – обиделся разносчик. – Даже если тигра мыть с золой, с него не смыть полосы! Так и здесь: шудра навсегда останется шудрой, хоть наизнанку его выверни! Вайшии останутся вовеки вайшиями, кшатрии, которые вышли из груди Браммы, навеки останутся кшатриями, брамины, из головы рожденные, останутся браминами... Ты не думай, я тоже знаю и помню свое место, – спохватился разносчик, что сагиб неправильно его поймет. – Я никогда не подойду со своей кружкой к брамину! Я хожу только по тем улицам, где торгуют и ремесленничают наши, вайшии!

– А не знаешь ли ты, где живут англичане? – взволнованно спросил белый сагиб, так взволнованно, словно его жизнь зависела от этого ответа.

– Ага! Я так и думал, что ты инглиш! – хлопнул себя по бедрам разносчик, за что и был вознагражден целым водопадом: этим неосторожным движением он опрокинул на себя все, что оставалось в кружках. По счастью, священная вода уже изрядно степлилась. – Конечно, я знаю, где живут твои соплеменники. Но их очень много, а Ванаресса – большой город.

– Мне нужны служащие Ост-Индской компании, – пояснил бродяга, и разносчик окончательно уверился, что перед ним истинный инглиш: эта братия не сомневается, что об их Ост-Индской компании должны знать все во Вселенной! Ну что ж, оборванцу-сагибу повезло: разносчик слышал эти три слова, магические для всякого белого.

– Этой могущественной госпоже служат почти все иноземцы, живущие в Ванарессе, – ответил он. – Но кто тебе нужен? Инглиш-воин или же инглиш-торговец?

– Да, тот, кого я ищу, скорее воин, чем купец, – после небольшого раздумья ответил бродяга. – Я знаю его дом по описанию. У него белые стены, а у ворот сидят два крылатых льва.

– О, так это один из домов магараджи Такура! – обрадовался разносчик воды. – В самом деле, говорят, он приветлив с инглишами и весьма умножает свои богатства с их помощью... хотя, по слухам, подвалы его дворцов и без того ломятся от сундуков с драгоценными камнями. Ну что ж, идем. Я провожу тебя к твоему инглишу, а то ты, пожалуй, все-таки перепутаешь Ванарессу с Беназиром!

И, донельзя довольный своей остротой, разносчик ринулся вперед, а чужеземец зашагал следом.

Вот уже видна белая ограда, и два крылатых льва скалят свои кривые зубы.

– Вот здесь живет твой инглиш, – сообщил разносчик. – Иди... и да помогут тебе боги! (Это он произнес вслух, а мысленно добавил: «Да не зажрут тебя до смерти собаки!»)

Он только успел сложить ладони в намасте,[3 - Жест приветствия и прощания.] как распахнулись створки ворот, высунулся слуга-индус, раздался разноголосый лай, и цепная свора разномастных псов выволокла из ворот высокую рыжеволосую фигуру, облаченную в белые одеяния, которые, по мнению разносчика, являли собою верх нелепости, но которые упорно носили все иноземцы.

– Беги! – крикнул разносчик, пускаясь наутек, уверенный, что безрассудный бродяга (сагиб, ха-ха!) последует за ним. Он пробежал не менее десяти десятков шагов, однако, не слыша за спиной топота, обернулся. Его волосы под тюрбаном заранее готовы были встать дыбом при виде окровавленного тела безрассудного бродяги... И он едва не рухнул, где стоял, увидев, как собаки радостно скачут вокруг рыжего инглиша, который стискивает оборванца в объятиях, хохоча и восклицая:

– О, Бэзил! Бэзил! Бэзил!!!

Разносчик некоторое время постоял, отпыхиваясь и задумчиво разглядывая эту картину.

«Значит, он все-таки сагиб», – кивнул наконец с облегчением и повернулся, чтобы следовать своим путем.

3

Старый друг

– Да что ты меня все кличешь Бэзиллом? – отбивался между тем странный приятель разносчика от увесистых шлепков. – Я себя чувствую бог знает кем с этим именем, каким-то не то французской, не то... – Он вдруг захохотал.

Рыжеволосый хозяин не смог скрыть тень беспокойства, мелькнувшую на его лице.

– Не бойся, я не спятил, – ответил неожиданный посетитель. – Просто вспомнил, как смешно говорил этот туземец: инглиш, мол! Так вот, когда ты честишь меня Бэзиллом, я ощущаю себя настоящим инглишем!

Хозяин поджал губы, но гость ответно приложил его по плечу так, что высоченная фигура покачнулась.

– Не обижайся, Реджинальд! Прости! Не знаю сам, о чем болтаю. Но до чего же я рад, до чего рад, что наконец добрался сюда! А ведь были минуты, когда казалось: со мной уже все, все, понимаешь?

– Ничего, Ва-си-лий! – В порыве сочувствия хозяин попытался правильно выговорить это несусветное, с его точки зрения, имя. – Теперь все позади. И клянусь, если ты не хочешь вспоминать, я не стану докучать тебе расспросами. Только умоляю: позволь мне называть тебя Бэзиллом, а не Васи... Валиси... – Вторая попытка не удалась; Реджинальд сбился, плюнул, махнул рукой: – А, черт, мне все равно это не под силу! Кстати, французишка назвал бы тебя Базиль.

– Кошмар! – передернул плечами Василий. – Пусть бы только попробовал! Я бы ему показал кузькину мать! А помнишь Кузьку, а, Реджинальд? А помнишь?..

– Помню, помню, – кивнул англичанин, с явным беспокойством разглядывая осунувшееся – нет, мало сказать – натуго обтянутое кожей лицо своего друга, его полунагое, облаченное в лохмотья тело, ловя его беспокойный взгляд. – Я все помню. Как он, наш незабвенный Кузька?

– А что ему сделается? Наплодил детушек, живет припеваючи! Теперь управляющим в моем московском имении, следит за строительством нового дома. Старый пожгли сволочи мусью, я тебе писал, нет?

– Писал, писал! – Успокоительно кивая, как нанятый, Реджинальд неприметно подталкивал своего приятеля по просторному зеленому, осененному тамариндами и баньянами двору, направляя его к дому.

Сбежались туземцы-слуги, складывали ладони, кланялись... Хозяин негромким словом, взглядом, знаком отдавал короткие, четкие приказания. Стайка слуг разлетелась: готовить ванну, одежду, завтрак, постель, – с опаской озираясь на диковинного гостя, которого их суровый и важный сагиб привечал, будто посланника своего магараджи-кинга.

Собаки – от внушительного бульдога, который по ночам грызся с наглыми шакалами, и до скромного рокета (на нем лежала обязанность очищать дом от крыс) – плелись поодаль. Поведение хозяина внушало, что они должны быть добродушны и почтительны с этим человеком странного вида, однако у бульдога

так и чесались клыки вцепиться в его широченные, столь приманчиво развевающиеся шаровары! Но пришлось перетерпеть: люди вошли в дом, а кто входил в дом, получал статус неприкосновенности – это было накрепко усвоено псами!

Реджинальд, в крепких челюстях которого явно было что-то бульдожье, тоже с острым интересом разглядывал одеяние своего приятеля, и вопрос, который он решил не задавать, так и жег ему язык.

– Ты можешь спрашивать меня о чем угодно, – усмехнулся Василий, заметив его взгляды и мученическое выражение лица. – Это бесполезно. Не потому, что я не хочу отвечать, – просто ничего не помню!

Разочарование, отразившееся на лице Реджинальда, силившегося сохранить знаменитую английскую невозмутимость, на несколько мгновений сделало его похожим на обиженного мальчика.

– Совсем ничего не помнишь? – спросил он разочарованно. – Совсем-совсем?!

– Помню, что в Калькутте сел на паттамар,[4 - Распространенное на побережье Индии небольшое ходкое судно с одной-тремя мачтами и треугольными парусами.] чтобы насладиться морской экзотикой, – начал было Василий, однако появился слуга в белых одеждах и с поклоном заявил, что ванна и одежда готовы. И Реджинальду пришлось принести свое любопытство в жертву гостеприимству.

* * *

Спустя два, а то и три часа, когда Реджинальд уже готов был прожевать собственный язык, как говорят индусы, гость его наконец-то появился вновь. Он был одет в белые узкие панталоны, заправленные в легкие сапоги, в просторную белую рубашку (все из гардероба Реджинальда) и сейчас гораздо больше напоминал того озверелого гусара, который едва не вступил под Сант-Берти в единоборство с союзническим полком армии Веллингтона, сбившись с пути, когда скакал в штаб с донесением, и приняв англичан в предрассветной мгле за французов.

Строго говоря, жители туманного Альбиона первыми дали залп из ружей по неясной фигуре, что есть мочи несущейся со стороны вражеских позиций. Всаднику повезло, а коня задело; обезумев от боли, он рванул, не разбирая дороги, и подлетел к самому реду. Пораженный наглостью «бонапартовского ветерана», вперед вышел командир полка, сэр Реджинальд Фрэнсис, и на самом плохом французском языке в мире предложил наглецу дуэль. Тот разразился подобающей случаю ответной тирадой, причем его произношение не оставило у англичан сомнения, что перед ними настоящий парижанин, и сломя голову кинулся на расплывчатый бранчливый силуэт, однако опомнился за мгновение до того, как скрестились два клинка. Этого спасительного мгновения оказалось достаточно, чтобы дуэлянты разглядели форму друг друга – и после минутного оцепенения оба захохотали во всю глотку. «Бонапартовскому ветерану» поднесли настоящего шотландского джина, показали дорогу к своим – и он отправился восвояси, успев, однако, объяснить свое внезапное прозрение с таким простодушием, что обидеться на него было просто невозможно:

– Да я, господа, отродясь не слыхал от француза такой дурной французской речи!

Потом они встретились в Париже, где Василий Аверинцев был при ставке русского командования, а сэр Реджинальд Фрэнсис находился в свите союзнического штаба. Потом они были в составе конвоя графа Павла Шувалова, сопровождавшего Корсиканца на остров Эльба, и в каком-то французском городке едва не погибли от рук взбунтовавшихся горожан, во что бы то ни стало вознамерившихся учинить самосуд над Наполеоном; крови его они жаждали теперь столь же пылко, как раньше курили ему фимиам. Обоих приятелей (к тому времени два офицера уже сделались приятелями) спас тогда ординарец Аверинцева, показавший французам знаменитую кузькину мать, и если в Париже прижилось русское словечко «быстро», забавно преобразовавшись в «бистро», то жители городка Сен-Жюль еще поколение спустя пугали своих непослушных детей жуткой, пострашнее любой ведьмы, старухой, породившей, однако, еще более страшного страшила по имени Кузька...

Война окончилась. Друзья остались друзьями, однако узнавали о жизни друг друга только по переписке. На пути в Англию Реджинальд был ранен в стычке с полуодичавшими остатками Великой Армии и оказался принужден уйти в отставку. За годы войны имение его было разорено племянником-забулдыгой, и всего-то богатства у бывшего полковника оставалось честь да слово «сэр», которое он мог прибавлять к своему имени. Средств к существованию не

имелось никаких, кроме весьма умеренной пенсии, и сэр Реджинальд, стиснув зубы, принял предложение своего дальнего родственника заступить на довольно высокий пост в Ост-Индской компании, точнее, в ее отделении в Беназире. Так что некоторое время в Россию шла почта из Индии, и Реджинальду очень легко удалось сманить боевого товарища совершить рискованное путешествие за тридевять земель.

Подмосковная вотчина Аверинцевых и дом в Первопрестольной были преданы огню отступающей французской армией, однако семья Василия осталась баснословно богата, и он, оставив строительство на незаменимого Кузьку, с охотой ринулся в путь. Он побывал в Персии, Египте, морем добрался до Калькутты, даже посетил знаменитое Азиатское общество, основанное в 1785 году сэром Виллиамом Джонсом. Его, признаться, влекло не столько собрание манускриптов на мертвых языках, равного коему не знала ни одна библиотека мира (разве что Александрийская, сгоревшая еще при Цезаре и Клеопатре!), сколько замечательная коллекция оружия индусов, бирманцев, яванцев и малайцев – коллекция редкая и достойная долгого изучения. Немалое время провел Аверинцев и в нижнем этаже здания, где размещалось Азиатское общество. Там, между анатомической галереей и кабинетом естественной истории, расставлены были замечательные остатки древнейшей индийской скульптуры, бактрианские статуи, буддистские барельефы и другие драгоценные памятники азиатского искусства разных эпох.

В Калькутте Аверинцева настигло весьма ядовитое письмо Реджинальда, не в шутку обиженного на запропавшего друга. Василию сделалось стыдно. Багаж его немало обогатился множеством экземпляров оружия, которым предстояло основать новый музей в подмосковном Аверинцеве, собиравшийся представителями этого рода чуть ли не столетие, но безжалостно разграбленный в одночасье «ценителями редкостей» из веселой Франции. Оставив свои приобретения, в числе которых были и книги, в Калькутте, Василий пустился в Беназир на экзотическом суденышке, однако путешествие, которое обещало быть легким и приятным, едва не стало для него последним в жизни.

Чуть ли не в четвертый день странствия налетел откуда ни возьмись жестокий шторм. Небольшое, но остойчивое судно долго боролось с пенистыми волнами; наконец оно уступило стихии и совершенно разрушилось.

Несколько человек пассажиров и матросов потонуло; однако Василию вместе с тремя товарищами по несчастью удалось взобраться в небольшую лодку, привязанную к судну, и спастись... хоть долгих десять дней это спасение казалось им невероятным. Кое-какой припас на самый непредвиденный случай в лодке был; увы, сухари скоро кончились, и перед незадачливыми мореплавателями маячил уже призрак смертоубийственной жажды, когда им удалось добраться до пустынного берега.

Но еще не менее недели коренья и травы составляли единственную пищу спасшихся. Благо корневища лотоса, найденного в небольшом озерке, оказались вполне съедобны. От спутников своих Василий (он уже несколько усовершенствовался в языке) узнал, что они называются хазан. Вкус этого хазана, когда он сварен, напоминает вкус брюквы. Его едят также поджаренным или печеным на углях, а кроме того, из корневищ делают что-то вроде муки, которую всыпают в похлебку, чтобы сделать ее повкуснее и погуще. Зерна лотоса едят засахаренными, вареными в меду, или делают из них муку, вполне пригодную для всякого рода печений. Осенью, когда прекращается цветение прекрасного лотоса, его молодые побеги нарезают и едят вареными, как спаржу.

Увы! Все эти полезные сведения так и остались для Василия отвлеченной этнографией, ибо взять огня, чтобы сварить корневища и побеги, испечь хлеб из молотых лotosовых зерен, измученным путешественникам было решительно негде.

Природа морского побережья со всеми ее красотами была мертва для них. Никакие величественные виды, никакие хоры птиц и забавные ужимки обезьян, подбиравшихся почти вплотную к людям, не могли истребить в душе священного, первобытного трепета перед непроницаемой зеленой стеною джунглей, откуда почти беспрестанно, а ночью вдвое, втрое сильнее доносился звериный рев.

Путники добрались до устья какой-то реки, впадающей в океан, и продолжили путь по ее берегам, надеясь на встречу с человеческим жильем, однако здесь их подстерегала новая смерть – крокодилы.

Словом, они были на грани отчаяния, когда однажды ночью увидели неподалеку свет. Кинулись туда, подобно обезумевшим мотылькам, – и обнаружили рыбака, который приманивал огнем рыбу.

Узрев полуживых, ободранных бродяг, навалившихся на него из тьмы, рыбаки сначала принял их за ужасных чудовищ – ракшасов и даже пустился наутек, однако сердце у него оказалось доброе и отозвалось на жалостные мольбы, расточаемые в четыре голоса. Он отвез страдальцев в рыбацью деревню, чтобы они пришли в себя, прежде чем пуститься в дальнейший путь в Беназир.

* * *

– Похоже, твоя память пряталась на дне этого блюда! – усмехнулся Реджинальд, поглядывая туда, где полчаса назад возвышалась огромная гора риса. – Ты прекрасно все вспомнил!

– Это что, карри? – спросил Василий, запивая водой острое рагу, которому он тоже отдал должное. – Оно не похоже на то, которое я ел в Калькутте.

– Да, в Беназире особенное карри. Обычно варят куски птицы с маслом, стручковым или красным перцем, зеленым анисом и небольшим количеством шафрана, чеснока и лука. Здесь же в карри добавляют еще и самую малость животного мяса.

– Мяса?! – с выражением священного ужаса переспросил Василий, кое-что уже успевший узнать об обычаях индусов. – Надеюсь, это не говядина?!

– Нет, поскольку для потомков Браммы сие смертный грех, – подмигнул Реджинальд. – И не свинина, которую на дух не переносят поклонники Аллаха. Это молодой барашек... и ты совершенно напрасно запиваешь его холодной водой. Отведай-ка вина. Французское! – с презрением пояснил хозяин. – Однако недурное. Правда, говорят, что выделывают эти вина на мысе Доброй Надежды, а не во Франции, ну да это даже к лучшему. Однако здешний климат скоро портит тонкие вина, а вдобавок насекомые точат пробки. Вообрази себе, они точат даже сигары! Особенно бесчинствуют муравьи!

Сэр Реджинальд болтал, изображал возмущение, смеялся, однако глаза его пристально следили за гостем.

Какой у него отрешенный взгляд... Конечно, пережить такое ужасное приключение, и где? Почти рядом с сушей, когда цель путешествия была достигнута! Но, с другой стороны, философски рассудил Реджинальд, человек должен понимать, что с ним может случиться всякая беда, если он едет в такие дикие края!

Что произошло с Бэзиллом? Он смеялся, глядя в лицо смерти на поле боя! Не мог же он так измениться после нескольких дней голодовки, подумал Реджинальд с апломбом человека, которому никогда не приходилось растягивать ломоть хлеба на три дня.

– Жаль, что у меня не такие длинные уши, как у зайца, – вдруг усмехнулся Василий. – Не то меня можно было бы очень просто оттащить от стола. Извини, Реджинальд. Это, наверное, выглядит устрашающе, но... Я уж и не знаю, когда ел в последний раз.

– Что же, эти добрые, как ты говоришь, люди в рыбацкой деревне не дали вам ничего в дорогу? – недоверчиво спросил Реджинальд – и даже похолодел, такими растерянными, пустыми сделались вдруг глаза его друга.

– Этого я не помню. Верить ли, я не помню ничего с той минуты, как нас накормили во дворе дома старосты этой деревни и указали, в какие хижины идти ночевать. По пути меня догнал какой-то человек и, бесконечно кланяясь, сказал: мол, староста передумал и мне назначено идти в другой дом, который он сейчас и укажет. Мне было все равно. Я повернул за ним, мы вышли на берег реки. Помню, солнце садилось, небо было алое, золотое... Я приостановился полюбоваться на закат, а мой провожатый сказал: «Скоро полнолуние, небо будет чистым...» Потом кто-то положил мне руку на плечо – и все. И все, ты понимаешь? У меня как бы помутилось в глазах, а когда прояснилось, я увидел себя стоящим чуть не по колени в Ганге, а рядом был этот благословенный разносчик, нечаянно окативший меня ледяной водой из всех своих кружек. Где мои спутники? Где я был все это время, как добрался до Беназира, кто мне дал те экзотические лохмотья, в которых я предстал перед тобой, – этого я не помню. Совершенно не помню!

– Ну-ну, Бэзил! – Рыжий англичанин бодро хлопнул его по плечу. – Ты отъешься, отоспишься, отдохнешь – и память вернется к тебе, уверяю! Крепко же тебе досталось, дружище! А не стукнул ли кто-нибудь из этих дикарей тебя, скажем, по голове?

Василий с комическими ужимками ощупал свою светло-русую голову.

– Да нет, вроде не нахожу ни вмятин, ни шишек, – сообщил он весело, однако в глазах его не отразилась улыбка. – Но странно... может быть, ты и прав, потому что стоит мне напрячь память, как у меня в мозгу словно бы разливается серебряный свет – такой, знаешь, блеклый, бледный, лунный...

– Лунный?! – переспросил Реджинальд и тотчас поджал губы, однако Василий успел заметить выражение озабоченности, мелькнувшее на его лице, и Реджинальду пришлось объясняться.

– Видишь ли, – неохотно промолвил он, – здесь говорят: горе неосторожному, заглядевшемуся на луну с непокрытой головой! Ты заметил, что все индусы носят тюрбаны? Уверяю тебя, защищают головы не только от палящего, безумного солнца!

– Что, от лунного удара? – отмахнулся Василий. – Рассказывай!

– Уж поверь, – очень серьезно кивнул Реджинальд. – Да ты послушай! Видел ли ты в Калькутте настоящих бенгальцев?

– Конечно, они единственные не прикрывают голов, а ходят со своими черными гривами.

– Да, бенгальцы не носят тюрбанов даже в полдень, когда, как говорится, даже у слона может сделаться солнечный удар. Но и бенгалец не выйдет из дому в полнолуние, не прикрыв макушку! Опасно даже заглядеться на луну, а уж заснуть под луной... Припадки падучей болезни, безумие, даже смерть – вот наказание неосторожному. Оттого все стараются защитить головы ночью. А ты...

– А я, очевидно, этого не сделал, – задумчиво проговорил Василий, – и заснул под луною, и сделался не в себе, и мои попутчики, отчаявшись вернуть мне сознание, привели меня к священной Ганге и отдали под покровительство божества, которое не замедлило умилосердствоваться и направило ко мне своего посланца в лохмотьях и с кружками на шесте. Местный Меркурий, а? Правда, на нем не было крылатых сандалий. – Он расхохотался с видимым облегчением. – Ну что же, это многое объясняет. Это все объясняет! Спасибо

тебе, Реджинальд, что надоумил! Жаль только, что с посланником мне не передали увесистого кошелька рупий взамен утопленного в океане!

– Мой дом, мой кошелек, я сам к твоим услугам, – произнес Реджинальд высокопарно, с тем видом снисходительного отвращения, который всегда принимает истинный джентльмен, когда ему приходится обсуждать такой низменный вопрос, как отсутствие денег.

– Благодарю, – негромко сказал Василий. – Поверь, я тронут. Я... словом, ты понимаешь! Возможно, мне придется воспользоваться твоим кредитом, однако скажи: знаешь ли ты каких-нибудь русских в Ванарессе?

– Ого! – вскинул рыжие брови Реджинальд. – Я вижу, тебе больше по вкусу индуизм, чем магометанство? Где это ты услышал о Ванарессе?

– Все от того же благословенного посланца Ганги, – улыбнулся Василий, и Реджинальд, узнавший наконец в этой дерзкой улыбке своего прежнего друга, от избытка чувств наградил его увесистым толчком в плечо, едва не сбросив со стула. – Однако ты не ответил мне. Так знаешь ли здешних русских?

– Трудно не знать, потому что мистер Бушуев – единственный здесь русский, вдобавок он очень тесно связан с моей компанией.

– Бушуев! – вскричал Василий. – Его-то мне и нужно!

– Как? Ты знаешь Бушуева? – недоверчиво поглядел на него хозяин. – Очевидно, еще по России?

– Отродясь его в глаза не видел, однако у меня было к нему заемное письмо из Москвы на очень немалую сумму. Этот Бушуев торгует кашмирскими шальями, так?

– В том числе, потому что легче перечислить то, чем он не торгует. Глядя на тебя, можно убедиться, что русские чрезвычайно воинственны, однако, судя по мистеру Бушуеву, они еще и весьма оборотисты.

– Так он богат?

– Ого-го-го! – значительно покрутил головой Реджинальд. – Более чем. Он за короткое время сделался одним из самых удачливых торговцев. Клиентов к нему как магнитом тянет. Правда, у него столь красивая дочь, что многие приходят лишь полюбоваться на нее, но тут уж мистер Питер берет их в свои медвежьи лапы так, что они готовы выполнить все его условия, только бы еще раз увидеть Барбару.

– Варвару, что ли? Какое недоброе имя, – передернул плечами Василий. – Недоброе, холодное. Оно мне не нравится. А что, и в самом деле красавица?

– Она похожа на англичанку, – мечтательно повел глазами Реджинальд, и Василий понимающе кивнул:

– О да, тогда конечно! Блондинка?

– У нее самые чудесные золотые волосы, которые я когда-либо видел! – провозгласил Реджинальд. – И лебединая шея, и дивные, чарующие глаза, похожие на два озера в туманной серой дымке. О, будь ее глаза голубыми, я бы... я бы, пожалуй...

– Ты, пожалуй, забыл бы леди Агату?! – с театральным ужасом воскликнул Василий, знавший о затянувшейся помолвке друга, которая могла окончиться браком, только если Реджинальд восстановит свое состояние.

Англичанин сконфуженно отвернул веснушчатое лицо.

– Да нет, дело вовсе не в глазах, – сказал он с заминкою. – Эта мисс Барбара уж до того своенравная девица! У нее нет матери, а тетушка Мери, сестра мистера Питера, не имеет над нею никакой власти. И эта девица со всей своей красотой до того ударилась в науку, что ни о чем приличном и говорить не может, как только чем отличается Деви от Дурги, а обе они – от Кали![5 - Разные ипостаси одной и той же богини.]

Василий был не силен в мифологии, к тому же слишком образованные и много о себе понимающие девицы никогда ему не нравились. Он не терпел в женщине серьезности, а умение полчаса говорить на одну и ту же тему, не сбиваясь, считал для слабого пола ужасным, непростительным недостатком. К тому же Василию, светловолосому и голубоглазому, всегда нравились худощавые,

роковые, даже мрачноватые брюнетки с зеркальными очами в малороссийском стиле, и беспрестанное созерцание черноволосых, смуглых, полных, сладковзрых дочерей Индии не уменьшило пристрастия к излюбленному типу. Так что дочь Бушуева, похожая на «настоящую англичанку», носившая вдобавок столь нелюбимое имя, не вызвала в нем ни малейшего интереса.

Они еще долго сидели за столом, попивая «недурное» французское винцо. Разговор то вспыхивал, то затихал, и крутился он теперь вокруг тем, так или иначе связанных с прошлым. Что пишут из Англии, что пишут из России; как повезло Реджинальду, что леди Агата лучше готова сделаться старою девою, чем нарушить данное ему слово; как повезло Василию, что основное состояние Аверинцевых осталось нетронутым войной; как повезло им обоим, когда в Сен-Жюле рядом оказался Кузька... Впрочем, кое на что Реджинальд все-таки сетовал. Жаль, что в Беназире не устраивают скачек в духе Дерби или Аскота; здесь нет петушиных или бараньих боев, верблюжьих гонок, ибо закон запрещает индусу игры и заклады, запрещает все, от чего вскипает кровь и человек азартный теряет разум... Здесь невозможно охотиться на лис, а среди сотрудников компании и даже высших офицеров войска его величества нет порядочных боксеров – так, более или менее сильные драчуны. Не может ведь джентльмен, настоящий спортсмен, позволить себе соревноваться с солдатами, младшими клерками или вовсе с индусами! Сэр Реджинальд с грустью помял свой внушительный бицепс, едва не разрывающий рукав, и сознался, что скоро все его мышцы станут порриджем – овсянкою – из-за отсутствия тренировок и разнеживающего климата, в котором никогда не бывает туманов...

В воздухе повеяло знаменитым сплином, и Василий подумал, что англичанин, который простирает до идолопоклонничества уважение к национальным обычаям, и на берегах Ганги, и на море, и среди лесов Америки остается тем же, что и на берегах Темзы. Еще он подумал, до чего же смешно, что он, богатый, даже очень богатый человек, сейчас с ног до головы облачен в чужое и питается от щедрот своего друга, который по сравнению с ним может считаться едва ли не нищим. Во власти Василия было без малейшего ущерба для себя снабдить сэра Реджинальда суммой, вполне достаточной, чтобы без промедления сыграть свадьбу с леди Агатой и обеспечить им обоим безбедное существование в милой туманной Англии. Но как это сделать? Да Реджинальд пристукнет его своим боксерским кулачищем на месте, стоит только предложить... Разве что в карты проиграть? А ведь это мысль! Только надо будет устроить все очень хитро, как можно хитрее, чтобы Реджинальд даже и не заподозрил ничего. Внешне

напыщенная, но глубоко пронизанная искренним теплом фраза: «Мой дом, мой кошелек, я сам к твоим услугам!» – стоила в глазах Василия дороже долгового обязательства, а он всегда платил свои долги!

И с внезапно проснувшимся оживлением он спросил:

– Неужто здесь даже негде талью-другую метнуть или хотя бы переброситься в экарте?

Реджинальд, не веривший в добрую фею по имени Зеленое Сукно,[6 - Зеленым сукном обычно обивали карточные столы.] качнул головой – и вдруг лицо его загорелось.

– Клянусь, мы не будем скучать, нет! – воскликнул он с внезапным оживлением. – Я совершенно забыл, что приглашен к магарадже Такура в его знаменитую загородную виллу! Это один из самых состоятельных людей в Индии и весьма к нам расположен. Он-то понимает, что будущее Индостана теперь навеки связано с Англией, и не цепляется за отжившие предрассудки. Ты только вообрази, Бэзил, некий англичанин сделался ненавистен для индусов и был убит ими лишь потому, что он приблизительно с минуту смотрел на бывшую без покрывала жену одного знатного человека, славившуюся своей красотой. За одну минуту он сделался парией![7 - Пария – в переносном смысле отверженный; в буквальном – представитель самой низшей касты: неприкасаемых.] Ты способен это понять? В конце концов, не он же снял с нее это покрывало – просто так сошлись обстоятельства.

– А что, твой приятель магараджа допускает европейцев на женскую половину? – недоверчиво спросил Василий, совсем немного успевший узнать основные обычаи этой страны, однако накрепко усвоивший: и у индусов, и у мусульман замужняя женщина неприкосновенна для посторонних взоров!

– Вот еще! – фыркнул Реджинальд. – Мы ведь и сами не дикари какие-нибудь. Я полагаю, здесь достаточно баядерок для желающих развлечься. Есть даже веселые дома, в которых юноши в женской одежде зарабатывают себе на жизнь тем, что предаются отвратительному разврату с мужчинами, но ни они, ни жены или наложницы магараджи меня не интересуют! Нас ждет кое-что получше. Прием будет великолепный, вот увидишь. А какой там стол... – Реджинальд закатил глаза. – А какая коллекция оружия! Куда Азиатскому обществу! Там

хранится даже сабля самого Сиваджи[8 - Легендарный герой Индии, остановивший в XVII в. продвижение войск Великого Могола на юг полуострова.] – это национальная реликвия. У нас с магараджей наилучшие отношения. Ведь я живу в одном из его домов. Конечно, это жилище не назовешь роскошным, однако вызывающая восточная обстановка действовала мне на нервы, и я попросил увезти все лишнее. Видишь, осталось только самое необходимое.

Василий огляделся. Комната, в которой они находились, была большая и темноватая, окна скрывались в углублениях, чтобы уменьшить проникновение солнечных лучей. Поэтому здесь было не жарко, а от колыхания пункаха даже прохладно. Пункахом назывался огромный веер, висевший на стене. Его приводил в движение мальчик в белой длинной рубахе. Он то задремывал, и тогда веер замирал, то, восторженно встрепенувшись, тарачил испуганные глаза на господ – и вновь по комнате распространялись волны относительной прохлады.

Василий с радостью вообразил визит к магарадже. Побывать у настоящего индийского властелина, вдобавок обладателя уникальной коллекции оружия, сабли Сиваджи, – об этом он и мечтать не мог, когда волны били его о борта жалкой лодочки, когда он брел, полуживой от голода, а за зеленой завесой джунглей, в двух шагах, человеческим голосом плакал голодный тигр...

Василий передернул плечами и только сейчас заметил, что появился слуга с лампой. Взглянул в окно. Однако хорошо же они посидели! Который может быть теперь час?

Здесь, в Индии, все не как у людей: вечер не следует за днем, мрак ночи ниспадает как бы силою волшебства, возникает новый, темный, колдовской мир, и близок выход луны...

– Вели завесить окна! – раздался вдруг чужой ломкий голос, и Василий не сразу поверил себе, когда сообразил, что это его собственный голос. Такой дрожащий, почти испуганный! – О, прости, Реджинальд. Не пойму, что это на меня нашло? Но эта луна...

– Совершенно верно, – с неколебимой серьезностью изрек Реджинальд. – Ты должен беречься луны, как... как кобры, как тигра! Она теперь твой враг. По счастью, луна идет на убыль, и по меньшей мере две недели ты сможешь жить совершенно спокойно. Не волнуйся. Я уже отдал приказ завесить окна в твоей

спальне как можно плотнее.

Василий кивнул, не в силах справиться с волнением. Ему было стыдно, и в то же время неясная, необъяснимая тревога так сжимала сердце, что он невольно морщился от боли.

Внезапно странный звук достиг его слуха. Он доносился то издали, будто лай собак, преследующих зверя, то раздавался совсем близко – так близко, что Василий невольно вздрагивал. Ужасным переключкам, переходящим в завывание, начал вторить оглушительный лай Реджинальдовых бульдогов, фокстерьеров и ракетов, зачуйавших своих ненавистных врагов – шакалов, которые стаями бегали по улицам и площадям, лишь только утихал людской гомон. Их привлекал запах мяса, которого индийцы, верные законам Браммы, не употребляют в пищу и после стола своих английских господ выбрасывают его в навозные кучи. Шакалы рыщут и по берегу, ожидая, не выбросит ли им волна труп какого-нибудь бедняка, недостойного погребального костра, – а потому великая Ганга послужила ему могилою...

Василий сцепил зубы, сясь унять дрожь. Надо поскорее уйти в отведенную ему спальню. Никто не должен видеть, как ему страшно, мало сказать – жутко! Этот вой, этот серебристый навязчивый луч, эти странные, опалово переливающиеся глаза, вдруг проглянувшие из бездн его памяти – и вновь бесследно канувшие туда... А может быть, он не в силах ничего вспомнить лишь оттого, что не хочет? Возможно, все бывшее с ним так страшно, так чудовищно, что он должен благодарить забвение за милосердие и молить лишь об одном: чтобы оно никогда не срывало с его памяти своего черного покрывала?..

Он заставил себя закрыть глаза и так лежал некоторое время, призывая сон. Разноцветные блики, мельтешившие перед взором, утишали свое движение, слагаясь в узоры, картины, сменявшие друг друга.

Он видел белый мрамор, мозаику из бриллиантов и сапфиров, потолок, затянутый темно-голубой тканью и усеянный драгоценными камнями вместо звезд, словно для того, чтобы совершенно уподобить его небу. Воистину, обителище, достойное богини! Богини?..

Высокая фигура в белых одеяниях недвижимо стояла перед ним. Резко пахло курительными палочками; их светлый дым то стелился над серебристо-белым

полом, то взмывал вверх, словно зачарованные змеи. Из-под покрывала донесся тихий вздох, и он вдруг остро, почти болезненно ощутил, что там, под этим покрывалом, – женщина и она ждет... ждет его!

Василий вскинулся, хватаясь за сердце, незряче глядя во тьму. А это что?! Воспоминание? Нет, видение, и какое реальное, какое мучительное! Нет, он не в силах понять... Надо уснуть. Вот все, чего он сейчас хочет, – уснуть!

Но растревоженная плоть еще долго мешала ему успокоиться.

4

Чудесный камень королевской кобры

Утром они отправились к Бушуеву. Василий не был уверен, что русский купец откроет ему кредит без заемного письма, однако он надеялся на рекомендации Реджинальда. К тому же попытка не пытка, спрос не беда!

Вчера, измученный, изголодавшийся, полуживой, Василий толком не разглядел Беназира, и сегодня вызывающая, резкая красота этого города обрушилась на него, как водопад красок, звуков, запахов.

Вокруг пестрели точеные, наподобие шахматных башен, пагоды, в которых толклись расписанные различными красками[9 - Цветные полоски на лице индуса обозначают касту, к которой он принадлежит.] меднолицые люди, белые горбатые телята с цветочными венками на рогах, полуобнаженные женщины браминов, которые одни из всех индианок даже не пытаются прикрывать лиц и ходят голоногими, а то и гологрудыми. Брамины орошали священной водой Ганги бесчисленное множество идолов. Порою по улицам проносились всадники на выкрашенных хной и индиго конях, с надетыми через плечо луком и стрелами без колчана за спиной, напоминающие сказочных божеств. Посреди этой подвижной живой массы двигался иногда слон в своей странной сбруе, с трудом и грохотом пробираясь меж теснящихся друг к другу храмов, домов, балконов и лавок, навесы которых, поддерживаемые шатками бамбуковыми подставками,

нередко опрокидывались неловким прохожим или тем же слоном. Порою мелькал легкий дромадер – одногорбый верблюд, покрытый ярким чепраком желтого, красного или зеленого цвета; однако сидевшие на верблюдах всадники сдерживали их, давая дорогу слону: ведь слон питает врожденный страх перед верблюдами. Василию и Реджинальду в свою очередь пришлось сдерживать коней, чтобы пропустить «ходячую гору», потому что лошади боятся слонов.

Мимо ехали странные индийские экипажи, закрытые сверху донизу красной или затканной цветами тканью, запряженные парой быков, то белых с позолоченными рогами, то окрашенных красной или зеленой краской, то испещренных хной с головы до копыт.

С балконов смотрели молоденькие женщины и девицы. Они были очень грациозны, когда закрывались краешком покрывал от нескромных взоров, однако, на взгляд Василия, могли и не стараться: ведь их хорошенькие личики и без того было трудно разглядеть за несметным количеством серег, колец и цепей, украшавших их головы, шеи, уши и даже носы.

В толпе прохаживались факиры – увечные, худые, будто обглоданные кости, с длинными, крючкообразными ногтями. Обвитые четками, с обмаранными синеватую сажей лицами и телом, с длинными всклокоченными волосами, собранными на макушке, с бородами физиономиями, они представляли пресмешное подобие голых обезьян; некоторые из них, по причине беспрестанного самобичевания, были страшно изранены.

Василий восхищенно тарачил глаза. Странная неумолкающая музыка, тяжелый запах мускуса от множества мускусных крыс, живущих под землей... Вот это и есть Индия! Пылающие взоры, влажные зубы, яркие полуоткрытые губы, тюрбаны желтые и алые, с золотой и серебряной нитью – целое море разнообразнейших, нигде, кроме Индии, не встречаемых тюрбанов! Легче, казалось, сосчитать звезды на небе, чем тюрбаны в Беназире. Каждая каста, ремесло, секта, каждое из тысячи подразделений индийской общественной иерархии имеет свой особенный, блестящий золотом головной убор.

Заглядевшись на цветник тюрбанов, Василий и не заметил, как они с Реджинальдом оказались на базаре.

Строго говоря, почти весь Беназир состоял из базаров, как, впрочем, и другие индийские города, потому что название шаок – базар – здесь дают почти всем местам, где находятся лавки. Большинство из них не имело передней стенки, и можно было видеть разложенные товары, от рухляди, на которую не стоило обращать внимания, до самых дорогих, искуснейших произведений Индостана и привезенных со всех концов света богатейших товаров. У Василия глаза разбегались!

Сквозь отворенную дверь он увидел комнатку, убранную циновками, где среди шелковых разноцветных подушек сидела, небрежно куря длинную изогнутую трубку, красавица, обернутая в яркие, прозрачные, как паутина, ткани, увешанная ожерельями, кольцами, подвесками, с благоуханными цветами в волосах. Она опиралась на точеную руку, выставив из-под подола голую ножку – на пальчиках сверкали перстни...

– Ого, какая! – усмехнулся Василий, подмигивая красавице, и она тотчас словно бы впилась в его глаза своими матово-черными очами, повела плечом – и легкая ткань соскользнула, обнажив манящие округлости груди...

– А, баядерка, – пренебрежительно оглянулся Реджинальд. – Нет, это не первый сорт. Поехали дальше.

– Да ты стал настоящим купцом! – хохотнул Василий. – Не первый сорт? А на мой вкус, очень хороша...

– Да забудь ты о ней! – отмахнулся Реджинальд. – Погляди-ка лучше сюда, вот на этого буни!

* * *

Буни – это змеечарователи. С целыми десятками кобр, фурзенов и гадюк вокруг пояса, шеи, рук и ног, они являлись достойными моделями для художника, который пожелал бы изобразить фурию мужского пола. Особенно отличался меж ними один колдун, который обвил себе голову кобрами, как чалмой. Раздув капюшоны, подняв свои зеленые листообразные головы, кобры безостановочно шипели, быстро высовывая маленькие жала, сверкая злыми глазками на всех проходящих. Их шипение напоминало тяжелое дыхание умирающего и было

слышно не менее чем за сто шагов.

Ничего подобного видеть Василию в Калькутте не приходилось. Да и то сказать: в стены Азиатского общества, где он проводил почти все время, змеечарователи не допускаются! Поэтому Василий был изумлен редкостным зрелищем и осадил коня, а потом и вовсе спешился, желая получше разглядеть джадугара, по-здешнему – колдуна. Реджинальд, позевывая и с неохотой, ибо всякого такого он уже презрительно навидался, все же последовал его примеру.

Зачув такой интерес к своей персоне, буни решил показать свое древнее искусство во всем блеске.

Вынув непременно принадлежность всякого змеечарователя – дудочку-вагуду, он сперва погрузил всех своих кобр, ферзенов и гадюк в сон. Наигрываемая им мелодия, тихая и медлительная, едва не зачаровала и Василия с Реджинальдом: по крайней мере их вдруг стало клонить в сон безо всякой видимой причины. Тогда буни дал им какой-то травы и велел крепко натереть виски и веки. Сонливость, слава богу, отошла.

– Ишь ты, Орфей! – пробормотал Василий, наконец-то справившись с судорожным зевком. – Только тот камни заставлял плакать, а у этого змеи окаменели.

Неведомо, понял ли чарователь сей комплимент, однако он вынул из грязного мешка что-то вроде круглого камешка, похожего на рыбий глаз или белый оникс с крапинкою посредине, и принялся уверять, что это – волшебный талисман, который «очарует» какую угодно кобру (на других змей камень не действует), мигом парализуя и, наконец, усыпляя ее. К тому же это было единственное, по его словам, спасение против укушения кобры: следовало только немедленно приложить талисман к ране, к которой он тут же пристанет так крепко, что его нельзя будет оторвать; затем, высосав весь яд, камень отпадет сам собою, и тогда минует всякая опасность.

Василий и Реджинальд переглянулись, причем англичанин так значительно подмигнул, что это не укрылось от внимания буни. Вскипев, он поклялся богами и Солнечной, и Лунной династии,[10 - То есть всеми богами индуизма.] что надменные сагибы скоро раскаются в своей недоверчивости, и принялся дразнить змей.

Выбрав громадную кобру футов в восемь длиной, он довел ее до бешенства; обвив хвостом пенек, возле которого обосновался со всем своим серпентарием змеечарователь, кобра начала страшно шипеть, вернее, хрипеть. Яростное дыхание раздувало ее тело, как грудь у человека. Первые восемь пар ее ребер раздвинулись, шея стала похожа на диск. При этом на спине явственно проступил рисунок в виде двух колец, соединенных перемычкой в форме буквы V. Качаясь из стороны в сторону, словно побег некоего зловещего растения, кобра наконец вцепилась своему хозяину в неосторожно (а скорее намеренно) выставленный палец, на котором тотчас выступило несколько капель крови.

У толпы зрителей вырвался единодушный вздох ужаса, а Василий выкрикнул, чтобы змеечародей немедленно надрезал место укуса прокаленным на огне лезвием и отсосал кровь. Однако тот не торопясь приклеил к пальцу свой грязноватый камушек, который пристал, будто пиявка, а через малое время сам собой отвалился, так что на пальце остался лишь красноватый легкий след укола.

– Иди ты!.. – восхищенно, недоверчиво пробормотал Василий, хватая буни за палец и крутя так и этак, словно вознамерился вывернуть всю кисть. – Вот же чертов колдун! Силен, а, Реджинальд?

– Фарс! – громко, презрительно изрек его друг. – У змеи мешок с ядом вырезан, это просто фарс!

Эту английскую высокомерную речь змеечарователь понял по скепсису, так и лившемуся из глаз рыжеватого сагиба. Что-то возмущенно промычав, он, после небольшого состязания в ловкости, поймал кобру за шею одной рукой, а другой всунул ей в рот маленькую палочку, установив ее между двумя челюстями так, что они оставались разверстыми; затем он подсунул змею к обоим сагибам поочередно, указывая на убийственную железку с ядом.

Василий так и передернулся от отвращения, взглянув на кривые змеиные зубы, напоенные смертью, однако Реджинальд остался непоколебим:

– Мешок там, а яду, может быть, и нет, почем мы знаем?

И снова лингвистическое чутье «колдуна» выказало его истинным полиглотом. Он сделал несколько весьма недвусмысленных жестов, из которых только

круглый дурак не уразумел бы, что он предлагает двум европейцам вместе или поодиночке попробовать на себе действие яда, которого якобы нет, а затем волшебного камушка.

Реджинальд поджал губы, смерив дерзца таким уничтожающим взглядом, что тот ощутил себя даже не шудрой, каким был по происхождению, а чем-то еще более низменным, чем даже пария, и почти не заслуживающим права на жизнь.

Тем временем Василий, который не отрывал взора от неподвижных, стеклянных глаз змеи, вдруг встрепенулся и двинулся вперед, засучивая рукав легкого светло-серого сюртука, одолженного ему Реджинальдом. Однако он не успел сделать и шагу, как был отшвырнут на порядочное расстояние англичанином, после чего понял, что мышцам Реджинальда еще далеко до состояния порриджа.

Змеечарователь, получив хлесткий удар стеком по голым ногам, заставивший его подскочить над землей на добрый фут, тоже мгновенно поумнел и выразил намерение продемонстрировать боеготовность своей змеищи менее опасным для людей способом. Отпустив кобру на землю, он ловко наступил ей на хвост, так что она на мгновение застыла, приподняв голову. Ловким движением схватил кобру одной рукой сзади за шею, а другой за тело неподалеку от хвоста и, широко расставив руки, растянул извивающуюся змею, сколько хватило сил. На его призывный клич подбежал полуголый мальчишка со стеклянной чашею в руках и с тем выражением лица, какое бывает у знающих себе цену подручных знаменитых фокусников. Бокал поднесли к змеиной голове; немедленно последовал резкий бросок. Нижние зубы кобры заскользили по стеклу, верхние нависли над краем, и на дно бокала упало несколько капель смертоносного яда...

– Все без обмана! – восхищенно выкрикнул Василий. – Ах ты, сила нечистая!

Желая вознаградить змеечарователя за редкостное зрелище, он привычно сунул руку в карман, который отродясь не был пустым, да вспомнил свои обстоятельства – и воззрился на Реджинальда. Лицо его при этом сделалось совершенно мальчишеским, и чудилось, что он просит старшего брата купить себе вожделенный леденец.

Чумазые физиономии чарователя змей и его «ассистента» мгновенно отразили это же выражение, и Реджинальд понял, что деваться некуда. Впрочем, ему все труднее было удерживать маску надменного равнодушия, ибо представление захватило и его тоже. Поэтому он сунул «колдуну» целую рупию, чем поверг того в настоящий столбняк, а затем протянул руку к волшебному камушку и провозгласил, что покупает это – для своего русского друга!

Однако подвижное лицо змеечарователя вмиг поблекло и приняло самое унылое выражение.

– Что такое? – круто заломил бровь Реджинальд, почувший неладное.

Василий уставился на индуса с тревогой. И предчувствие не обмануло его.

– Сагибы, высокочтимые сагибы, – забубнил змеечарователь, – простите несчастного! И своей жизни, и жизни своего сына я не пожалел бы, чтобы выполнить ваше желание (Реджинальд удовлетворенно кивнул при сих словах), однако пусть пожрет меня черная Кали, если я в силах потворствовать вашей воле!

– Клянусь, она тебя непременно пожрет, если ты сию же минуту не объяснишься! – с ужасающим хладнокровием процедил Реджинальд, и змеечарователь обреченно закатил глаза: мол, чему быть, того не миновать.

– Извольте выслушать, о сагибы! – сказал он задумчиво. – Мой талисман – поистине волшебный. Он спасает не только от змеиных укусов. Ежели кого-то цапнет бешеная собака, стоит только положить камень в стакан с водой и оставить на ночь, а на другой день дать больному выпить эту воду, как он выздоровеет... Но мой талисман очень боязлив. Его надобно держать непременно в сухом месте, следует остерегаться оставлять его поблизости от мертвого тела, беречь от солнечного и лунного затмения – иначе он потеряет силу.

– Камень! – нетерпеливо сказал Реджинальд, протягивая руку, однако индус спрятал сжатый кулак за спину и печально покачал головой:

– В руках белого сагиба камень станет совершенно бесполезным.

– То есть как?! – возмущенно воскликнул Василий, а Реджинальд значительно прижмурился.

– Стало быть, все-таки шарлатанство! – сказал он с явным облегчением, и лицо его мгновенно приняло привычное скучающее выражение.

Змеечарователь стоял понурясь. Мальчишка глядел с обидою. Даже кобры, чудилось, имели теперь вовсе не грозный, а как бы пристыженный вид: не вставали на хвосты, не раздували капюшоны, не сновали туда-сюда жалом.

– Эх вы, дуры! – укоризненно сказал Василий по-русски. – Чего, спрашивается, пыжились? Шуму-то, шуму навели!..

И, даже не оглянувшись на змеечарователя с его пристыженными подружками, он вскочил на коня и направил его вслед за важно восседавшим верхом Реджинальдом, имеющим вид *pater'a family*, [11 - *Pater family* (лат.) – отец семейства – выражение для обозначения очень почтенного человека.] наконец-то оторвавшего своего несмышленного отпрыска от пагубного увлечения.

Впрочем, на «отеческом» лице вскоре вновь появилась дружеская улыбка, сопроводившая слова:

– Ну, вот мы и приехали.

И в эту минуту из-за высоких ворот, затейливо вырезанных из красного дерева, донесся женский крик, полный такого ужаса, что по спине Василия пробежал ледяной ветер.

5

Зловещая незнакомка

Откуда ни возьмись, точно сквозь стену прошла, перед всадниками возникла невысокая согбенная фигурка. И без того встревоженные кони вздыбились, когда она вдруг кинулась чуть ли не под копыта, издавая сдавленные,

мучительные стоны и заламывая руки так отчаянно и горестно, что молодые люди мгновенно спешили и кинулись поднимать женщину, обуреваемые одним лишь желанием: немедленно помочь этому жалкому существу.

Однако стоило им взглянуть на женщину внимательнее, как оба обмерли, хором издав проклятие.

Она была избита до того, что смуглое, медное лицо выглядело одним сплошным кровавым синяком. Кровавая пена пузырилась во рту там, где чернели ямы выбитых зубов. У корней ее всклокоченных волос виднелись кровавые ссадины. «За волосы таскали, выдирали, – подумал Василий, жалостливо морщась. – А на руках что – кандалы, что ли, были? Преступница небось?»

Мутный взор полубесчувственной женщины между тем прояснился, но лицо ее не сделалось спокойнее. Напротив – она издала еще один стон и захрипела (очевидно, голос был до того сорван криком, что громче говорить она не могла):

– Не убивайте! О, не убивайте меня, белые сагибы! Я не сделала ничего, клянусь великим Вишну! Я ни в чем не виновата! Не убивайте меня!

Василий и Реджинальд переглянулись. На них еще никто никогда не смотрел как на людоедов, и они словно бы удостоверились этой переглядкой, что лицо сотоварища не возымело в себе ничего нечеловеческого. Но оба враз без труда смекнули, что не выражение, а цвет их лиц приводит бедняжку в иступление страха, и Василий быстро спросил:

– За что тебя так?

Уловив неприкрытое сочувствие в его голосе, женщина залилась слезами и протянула руки с кровавыми рубцами на запястьях, а потом, обезумев, вздернула изодранное сари, открыв такие же следы на щиколотках:

– Я рабыня... я рабыня в этом доме! – И она простерла трясущуюся руку к стене, окружающей тот самый дом, куда направлялись друзья. Тут же стало ясно, что она выскочила не сквозь стену, а через маленькую, чуть ли не вровень с землей, калиточку, причем куст жасмина, прикрывавший этот ход, еще хранил на себе клочки ее окровавленного одеяния.

Василий только головой покачал, а Реджинальду изменила его обычная сдержанность.

– Рабыня? – вскричал он в ужасе. – Ты рабыня мистера Питера? Да нет, не может быть! Ты, должно быть, хотела сказать – служанка?

Женщина закрыла лицо руками, и все тело ее затряслось от тяжелых рыданий. Это был ответ – яснее не скажешь, и Реджинальд даже побагровел от возмущения:

– Тьфу! Кто бы мог подумать, что мистер Питер...

– Хозяин-сагиб груб, жесток, у него тяжелые кулаки, – пробормотала шепелявя избитая женщина, и кровавая слюна потекла по ее подбородку, – но он только бил меня. А мэм-сагиб, молодая мэм-сагиб – она истинная Кали: кровавая, черная, жестокая! Это сама Смерть! Имя ее должно быть Смерть!

Лицо Реджинальда внезапно обесцветилось.

– Что ты говоришь? – воскликнул он почти грубо. – Какая еще мэм-сагиб? Мисс Барбара? Чепуха! Чепуха!

Женщина обреченно свесила руки и, точно ноги ее больше не держали, опустилась в пыль.

– Мэм-сагиб Барбара... – пробормотала она помертвелыми губами. – Ей не нравилось, что у меня волосы гуще и длиннее, чем у нее, и она хотела вырвать их.

Реджинальд схватился за голову так порывисто, что шляпа слетела. Василий покосился на друга, подумав, что леди Агата, конечно, должна быть очень благодарна сегодняшнему утру. Акции ее, похоже, взлетели нынче на недосягаемую высоту, потому что мисс Барбара в образе кровожадной рабовладелицы не имела права даже на сотую, даже на тысячную долю Реджинальдова сердца.

Василию все происходящее казалось, конечно, отвратительным, однако вовсе не чудовищным. Интересно, что сделалось бы с Реджинальдом, узнай он, что и его любимчик Кузька, и Кузькина мать (родная, а не метафорическая), и отец, и деды с бабками, и жена с малыми детьми, а также еще тысяч десять народу – все они были рабами его лучшего друга Василия Аверинцева? Сиречь его крепостными душами. А предки их принадлежали его предкам, и этак велось с тех пор, как вошел в силу некогда захудалый древний боярский род Аверинцевых. Впрочем, неведомо, как этим самым предкам, но Василию бессмысленная, торжествующая жестокость господина была совершенно чужда. Драли, конечно, мужиков по его воле в холодной, а то на конюшне, чего греха таить, – однако драли за дело: за недоимки, или леность, или потраву господского поля, сведение барского леса... не часто драли, мог сказать Василий, положив руку на сердце! Он не распродал за долги крестьянские семьи, не менял детей на борзых щенков, не тешился с пригожими невестами прежде их законных мужей, хотя, если видел к себе добрую охоту, никогда не оставлял вниманием бойкую молодницу или девку. От Аверинцевых крепостные не ударялись в бега, поэтому среди некоторых своих соседей Василий слыл чуть ли не вольнодумцем. О нет, сия французская губительная зараза, впоследствии принесящая России столько бед, счастливо обошла его, не пристала, как ко многим русским молодым офицерам, в заграничном походе, и лишь природное человеколюбие, а вовсе не политические воззрения делали Василия тем, кем он был и слыл: добродушным и справедливым барином. К жестокости мужской он относился с молчаливым осуждением, ну а жестокость женская... Конечно, она не заставляла его волосы вставать дыбом, подобно рыжим кудрям Реджинальда, однако внушала естественное отвращение. И, с брезгливой усмешкой вспомнив дифирамбы приятеля этой Барбаре (лебединая шея, глаза, будто озера), Василий подумал, что не зря индийцы считают длинные шеи у женщин признаком неверности и неустойчивости характера, а голубые глаза – дурными, кошачьими, в точности как у сиамских кошек! Правда, Реджинальд говорил, будто у Барбары серые глаза. Ну что же, очень возможно, что серые глаза – свидетельство кровожадности и безрассудной свирепости... Не зря ему так не нравилось ее имя. Замашки у нее совершенно дикарские, правда что варварские. Сам Бушуев, надо думать, тоже хорош. Вот жалость, что надобно идти в дом к таким недобрым людям, вдобавок просить у них денег! Не лучше ли воспользоваться, в самом-то деле, тощим, но честным кошельком Реджинальда, а уплатить долги уже по возвращении в Россию?

И в эту минуту свирепый рев долетел из бушуевского двора, потом свист плети, резкий звук удара – и новый женский крик... такой крик, что оба друга, не сговариваясь, кинулись к воротам, взлетели на них, опираясь на затейливую

резьбу, – и свалились во двор, готовые сразиться по меньшей мере с драконом (то есть на дракона готов был пойти Реджинальд, а Василию сгодился бы трехголовый Змей Горыныч).

* * *

Зрелище, открывшееся их глазам, выбило бы меч из рук и святого Георгия, и Добрыни Никитича, поскольку повергло бы того и другого в несказанное изумление.

Они узрели высоченного, широкоплечего человека в широких плисовых штанах, кумачовой рубашке распояскою и в каких-то разбитых чувяках – всклокоченного русоволосого бородача лет под пятьдесят, настоящего Святогора-богатыря, того самого, что частенько «плеточкой ременной поигрывал, трехвостой плетеночкой баловался».

В руках у него и впрямь было нечто среднее между пастушьим кнутом и трехвостой «кошкою» с вплетенными на концах свинчатками, и этой-то плетью он со всего замаха, со всего плеча, нещадно, в поте лица своего, сек, вернее сказать, рвал в клочки... огромный разноцветный тюк.

В воздухе реяли золотистые и серебристые нити, обрывки ткани. Один такой лоскуточек мягко опустился на нос Василия. Чихнув, Аверинцев поймал нечаянный трофей и задумчиво уставился на него. Это был клочок розового кашемира. На нем еще оставались краешек синего индигового цветка и головка поющего соловья, отсеченная от тела метким, безжалостным ударом. Теперь до Василия дошло, что и разноцветный снег, щедро засыпавший каменные плиты, и иссеченный почти насмерть тюк некогда были добрыми тысячами роскошнейших, красивейших кашмирских тканей, которые считались в Европе модной, баснословно дорогой новинкою, так что человек в красной рубашке, можно сказать, иссекал кнутом немалые пачечки бумажных ассигнаций!

Однако даже самый дорогой кашемир не станет кричать нечеловеческим голосом, хоть рви его на части, хоть жги огнем. Василий окинул взором диспозицию и на кружевном белом балкончике обнаружил ту, чьи вопли заставили его и Реджинальда разбойничьи нарушить границы чужого владения.

Это была дородная дама лет пятидесяти, одетая в нечто среднее между русским сарафаном и греческой туникой. Сей фасон еще не вышел из моды ни в Европе, ни в России и, похоже, пришелся по вкусу и в Индии – тем паче что дама была светло-русая, светлоглазая, по-русски немножко курносенькая... словом, отнюдь не смуглая дочь Индии.

Заламывая пухлые руки, так что широкие рукава легкой муслиновой рубахи ниспадали до самых плеч, она издавала пронзительные крики при всяком новом ударе, и новые потоки слез проливались на ее все еще свежее, румяное, полное и добродушное лицо, а крики сменялись слабым лепетом, в котором с трудом можно было разобрать:

– Петенька... Петенька, голубчик, помилосердствуй!

Она говорила по-русски, и Василий без труда понял, что разбойник в красной рубахе и есть Петр Бушуев, а на балконе стоит та самая его сестра, которая не способна справиться с буйнонравной (небось вся в отца) и жестокосердной Варварой.

– Я полагаю, мистер Питер лишился рассудка, – негромко проговорил Реджинальд. Голос его был совершенно спокоен, однако чуткий слух Василия уловил отзвук нескрываемого удовольствия, которое испытывал его друг, видя своего конкурента бездумно пускающим на ветер немалое состояние.

Василий нахмурился. Он и сам был не прочь покуролесить. Скажем, на эту масленую, когда вдруг ударила оттепель и горки сделались непригодны для катания на санках, приказал в одночасье воздвигнуть во всем Аверинцеве горы деревянные, а поскольку за скоростью постройки их не успели как надо обстругать, велел смазывать скаты чухонским[12 - Старинное название соленого коровьего масла.] маслом, чтоб скользило лучше. По счастью, на другую ночь ударил мороз, и только это помешало молодому барину известить не только свои и крестьянушек запасы масла, но и скупить его у всех соседей, а также разослать гонцов за сим скользким продуктом в свои прочие вотчины – хоть бы и на Нижегородчину, хоть бы и на Урал! Однако Василий, при всей разгульной безоглядности натуры, не терпел русской ошалелой дури, которая вызывала кривенькие иноземные ухмылки, а потому, скрежетнув зубами в ответ на высокомерный Реджинальдов взгляд, рванул вперед, неуловимым движением скользнул под визжащий, раскрученный для нового замаха кнут и, счастливо избежав удара, вцепился в высоко занесенную ручищу Бушуева.

* * *

Эх ты!.. Василию показалось, будто он повис на чугунной кувалде. Его повлекло вверх, ноги оторвались от земли. «А ведь во мне больше шести футов росту! – мелькнула возмущенная мысль. – И весу пудов пять!»

Ништо... Чудилось, при всех этих достоинствах он будет сейчас отброшен, как жалкий котенок, однако ручища неохотно замерла в воздухе, косматая голова медленно повернулась на саженных плечах, и в лицо Василия с несказанным изумлением глянули яркие темно-серые глаза.

– Что за напасть? – ошеломленно пробормотал Бушуев, несколько приопуская «кувалду», так что Василий смог наконец утвердиться на земле обеими ногами и попытался ослабить хватку своих онемевших от усилий удержаться пальцев.

– Сгинь, пропади, сила нечистая! – продолжал выражать свое изумление Бушуев и вознамерился было перекреститься, однако сделать это правой рукой с зажатым в ней кнутом и полувытянутым человеком было затруднительно, поэтому он только возвел очи горе, как бы призывая Господа на помощь, однако краем глаза увидел стоящего невдалеке Реджинальда – и всплеснул ручищами:

– Мать честная! Какими судьбами, сударь?!

Кнут упал; Василий отлетел шагов на пять, однако удержался на ногах (все-таки не с коня на полном скаку падать!) и, по гусарскому обычаю, мгновенно принял ухарски-небрежный вид.

– А это еще кто? – повел бровью Бушуев и снова повернулся к Реджинальду с выражением радушия, такого же безоглядного, как и ярость, душившая его минуту назад. – Добро пожаловать, сэр!

Английский его был столь буен и грозен, что не всякий слух продрался бы сквозь нагромождение неправильно выговоренных звуков, однако Реджинальд и бровью не повел, а только любезно поинтересовался:

– Попалась бракованная партия товара, мистер Питер?

«Мистер Питер» растерянно огляделся, и на его взопревшем лице изобразился откровенный ужас при виде им же самим учиненного разбоя. Отерев рукавом лоб, он какое-то мгновение стоял недвижимо, потом вдруг передернул плечами, коротко хохотнул и как ни в чем не бывало поглядел на ехидного англичанина:

– Да нет, не брак! Товар хороший, только... только лишнего я взял – боюсь, перегруз будет, как бы корабль не потонул!

Василий невольно засмеялся. Этот разбойник ему определенно нравился. И какова же хитрая шельма! Ловко вывернулся!

Бушуев покосился на него и тихо, но смачно выругался по-русски, не сомневаясь, что Реджинальд привел с собою соотечественника, который ни бельмеса не поймет. Василий, не дрогнув лицом, мгновенно перетряхнул свой лексикон и ответил сложнейшим витиеватым многочленом с упоминанием определенных частей человеческого тела и перечислением некоторых действий, совершаемых обыкновенно в супружеской постели, а также нанизал ряд неудобосказуемых эпитетов, присовокупив достопочтенную мать всех Кузек на свете, – и снова захохотал, увидав, что круглое, даже, пожалуй, квадратное лицо Бушуева вдруг от изумления уподобилось овалу.

– Земляк, что ли? – наконец-то выдавил хозяин, потом хлопнул Василия по плечу: – Чего я, дурень, спрашиваю?! Видно сокола по полету! – И захохотал в свою очередь.

Отсмеявшись, он сгреб Васильеву руку своими лапищами, стиснул ее так, что тот подавился вздохом, а потом, задрав голову к балкончику, на котором олицетворением молчаливого изумления застыла женская фигура, зычно провозгласил:

– Маря! Вели на стол накрывать! Вишь, гости у нас! Наши, русские! Земляки! – И, увлекая за собою молодых людей, один из которых и не подозревал, что только что сменил национальность и подданство, Бушуев ввалился в широкие двери дома, даже не оглянувшись на ворох лоскутков, устилавших двор подобно весело раскрашенным сугробам.

* * *

– Нет, кашемир – это, я тебе скажу, самое лучшее! От тысячи до пятнадцати тысяч рублей идет за штуку! Конечное дело, слоновыми костями тоже производить знатный торг способно, однако же это не для нас, не для Расеи. У нас, благодарение Господу Богу, по северным берегам моржа-зверя невиданно, а его клык покрепче и побелее слонового будет. Овчинка выделки не стоит, ей-же-ей! Еще был я в Беке, иначе говоря – Пегу, копал камень ягут, сиречь рубин. Его там в земле – невиданно, однако старатели так ограничены уговором, что ежели они найдут при копании камень, который будет больше горошины и притом лучшей воды, то должны доставить его к начальнику города, а он отдает в казну государственную. Меньшими же упомянутой величины ягутами можно пользоваться и продавать их. Условие сие столь строго, что, который его не исполнит, тот может и жизни лишиться! Нет, это дело не для одного человека. Но уж англичане и ягуты приберут к рукам! Умеют они золотыми ключами отворить сердце, золотым дождем оросить души!

Бушуев лукаво покосился на Реджинальда, тот состроил в ответ любезную улыбку и задумчиво отправил в рот кусочек отменно приготовленной баранины, весь желтый от масалы – терпкой приправы. Был на столе чаль, то есть рис, и земляные яблоки – картошка, которая в России давным-давно уже перестала быть диковинкою, а также печеный ямс, который видом и величиной походил на редьку, только был красноватого цвета, а вкус имел сладковатый.

Василий с умилением хрустел квашеной капустою и солеными огурчиками – огурцы были длинные, изогнутые, без пупырышек, а в остальном имели совершенно русский, восхитительный вкус. И пироги были с капустою – как дома! Он жевал, жевал... Бушуев ел мало, налегая больше на пальмовую водку, и лицо его все гуще наливалось краснотою, алая рубаха липла к телу, а сам он то и дело ворчал, что во всем этом индийском мире существует одна жара.

Собственно, разговор велся только между Бушуевым и его русским гостем. Что Реджинальд, что Марья Лукинична, сестра хозяина, играли в молчанку, причем Реджинальд неприметно озирался, словно выискивал кого-то, а хозяйка все больше заботилась о том, чтобы стол не пустовал, да натянуто улыбалась всякий раз, как англичанин оглядывался, и в ее глазах мелькал испуг. Впрочем, предаваться наблюдениям у Василия особенно времени не было, потому что хозяин всецело завладел его вниманием.

Петр Лукич доверительно сообщил, что, по короткому знакомству его с индийскими, афганскими и персидскими знатными купцами, он узнал, что те

охотно желают завести на границах с Россией и внутри оных постоянный торг и учредить купеческие конторы на любых условиях, какие предложит российское правительство. Многие из здешних приятелей Бушуева отчаянно боялись возрастающего английского влияния, которое уже сейчас превосходило и португальское, полузабытое, и французское, сведенное на нет лишь недавно.

– В делах слово индусы держат крепко, что моголы, что идолопоклонники. Чужого похищать не расположены и завидовать никому не имеют нужды, однако правитель Тагора, – по-русски сообщил Бушуев, – таково ожесточен против английшей, что готов покровительства искать даже и в самых дальних далях! Так что ты не думай, что они тут все англишам задницу готовы лизать. Ежели мы не растеряемся, много чего можно к рукам прибрать! Одна незадача: больно далеко. Англичане – они что? Они без чужих земель нищие, босые. Они тут уже сколько лет кормятся. А у нас, конечно, своему добру предела нет. Туркестан, Хива, Кавказ – это ведь какая сокровищница! Однако же и здесь... Голконда!

Он значительно покрутил головой. Тут Реджинальд пробудился от своей задумчивости и не без подозрительности попросил осведомить его, о чем шла речь.

– Да вот, учу молодого человека уму-разуму, – не сморгнув, отоврался Бушуев, – говорю, дерево битре, тик по-вашему, очень уж богатую древесину имеет! С прожилками, а глянец на нее легко наводится. Изумишься, когда увидишь стол из битре или, скажем, шкаф. Никакому древоточцу этой древесины не взять, никакому червяку. Вот бы в Россию этого битре навезти, я смекаю!

– Хорошее дело, – пряча улыбку, согласился Василий. – Однако же в дереве я мало что смыслю. Вот оружие – это да! Фугетта, карга...

– А где же мисс Барбара? Неужто мы будем лишены удовольствия видеться с нею нынче? – внезапно перебил его Реджинальд, и Василий наконец понял, кого так нетерпеливо высматривал его приятель. Сам он начисто позабыл и о дочери бушуевской, и о ее свирепых пристрастиях, а потому почувствовал, как благодатное – ну будто дома! – настроение его при упоминании этого имени развеялось словно дым, оставив по себе лишь горький привкус. Какое уж там удовольствие!

Похоже, впрочем, было, что не одного его огорчил неожиданный вопрос Реджинальда. Миловидное лицо Марьи Лукиничны пошло пятнами, она даже ладонь прижала к губам, как бы призывая к молчанию, однако было уже поздно.

Физиономия Бушуева приняла до того ошарашенный вид, словно его из-за угла стукнули по голове чем-то весьма и весьма увесистым – может быть, сделанным из этого самого дерева битре. И Василий внезапно понял, что застолье и общение с земляком настолько разнежили купца, что он ощутил себя внезапно низвергнутым с небес на землю. Странно, что такое действие произвело упоминание о единственной и любимой дочери, однако если то, что нынче узнали о ней Реджинальд и Василий, правда, то неудивительно, что у отца при одном имени ее глаза на лоб лезут!

И это еще очень скромно было сказано...

– Где Варька? – хрипло повторил Бушуев, приподнимаясь из-за стола и вперя в сестру такой испепеляющий взор, что несчастная женщина затряслась как в лихорадке. – Где, любопытствуете, эта вертихвостка? Вы вон ее спросите, потатчицу! Избаловала девку вконец, начисто она от рук отбилась! Да ее мать-покойница, ангел, небось в гробу переворачивается, глядячи на сию анчутку! Сладу с ней никакого нет! Вот увидишь ты у меня: как воротится – запорю, запорю, и весь сказ! А до дому доберемся – в монастырь отдам! Под клубук упрячу, своевольницу! – И рука Бушуева при этом сделала такой размашистый жест, словно сжимала плеть, а перед нею была простерта такая-сякая дочь Варька... или, на худой конец, тюк с кашемиром.

Так вот за что досталось кашемиру, осенило вдруг Василия! Очевидно, Петр Лукич был таково расстроен каким-то проступком дочери (может быть, истязанием безвинной рабыни), что, за отсутствием Варвары, выместил злобу на том, что под руку попало.

Хотя обличительные речения свои Бушуев вновь выпалил по-русски, Реджинальд проявил чудеса догадливости и встал рядом со стулом плачущей Марьи Лукиничны с таким видом, что и слепому сделалось бы ясно: даму он не намерен никому давать в обиду – как и подобает истинному джентльмену. Возможно, именно каменно, вызывающе выпяченная челюсть сэра Реджинальда и отрезвила Бушуева, потому что он с видимым усилием овладел собою и сообщил,

что его дочь вот уже который день гостит в доме магараджи Такура по приглашению его супруги – магарани, которая обучает Варьку индусским обычаям и верованиям, коими та чрезвычайно увлечена. А сам Петр Лукич выезжает в Такур завтра же, чтобы присутствовать на праздновании в честь рождения у магараджи долгожданного внука.

Причина была вполне приличная, что и говорить, однако от Бушуева не укрылся мгновенный недоумевающий взгляд, которым обменялись его гости.

А ведь было чему удивляться! У обоих промелькнуло воспоминание о свежих кровоподтеках на лице рабыни, встреченной у ворот. Ежели Бушуев уверяет, что Варвара уже другую неделю в гостях, кто же так жестоко избил бедняжку? Сам хозяин? Его сестра? Но такого даже самое изощренное воображение не в силах было представить! И к тому же рабыня явственно сказала, что мучила ее молодая мэм-сагиб... Похоже, Петр Лукич просто-напросто врет, прикрывая дочь. Ну что ж, это его отеческое право, и не дело гостей за что-то упрекать хозяина. В чужой монастырь со своим уставом, как известно, не лезут, подумали оба приятеля, а для того, чтобы сгладить наступившую неловкость, Реджинальд поспешил сообщить, что тоже приглашен в Такур и берет с собою Василия. Однако вот какая незадача приключилась с его приятелем...

Последовало повествование о кораблекрушении, опасностях, странствии по побережью (о провале в памяти Реджинальд не счел нужным упомянуть), потере всех денег и имущества. Василий назвал имена общих знакомых в Москве и своего поручителя в Калькутте, после чего Бушуев упер руки в боки и грозно заявил, что плевать ему на всякие поручительства, и, явись к нему Василий просто так, голый и босый, но скажи: я, мол, русский, – Бушуев немедля открыл бы ему свой кошелек, потому что он не из тех, кто способен оставить соотечественника в беде. В подтверждение сих слов Аверинцеву был тотчас же заявлен неограниченный кредит, и щедрость Бушуева простерлась до того, что он даже позволил приятелям взять в его кладовых подарки для магараджи Такура. Час спустя отменные дары были выбраны. Ими явились китайские фарфоровые чернильницы, японские чашечки для водки, лаковые дощечки с перламутровой инкрустацией, несколько хоросанских клинков отменного, по словам Василия, булата, четыреста штук сукна багряного цвета и пятьдесят желтого, затем сотня штук сукна алого цвета высшего достоинства, пять настенных часов, двенадцать зеркал, немецкой работы глобус, тщательнейшим образом разрисованный, и всякие подобные вещи, призванные взволновать весь двор магараджи и его самого: эти европейские игрушки благодаря новизне

приобретали странную, фантастическую цену в глазах людей, которые горстями гребли серебро, золото и алмазы!

Уже глубоким вечером молодые люди покинули гостеприимный дом русского купца, заручившись его обещанием завтра же прислать все нужные товары. Прощались ненадолго: через день им предстояло встретиться у магараджи Такура.

– Где мы будем иметь удовольствие увидеть очаровательную мисс Барбару, – не преминул добавить помешанный на учтивости сэръ Реджинальд.

При этом Марья Лукинична с трудом удержала руку, взлетевшую для крестного знамения, ее брат едва приостановил свои кустистые брови, так и норовившие грозно сдвинуться у переносицы, словно бровищи Перуна-громовержца, сулившие смертным громы и молнии, ну а Василий... Василий с кислой улыбкой подумал, что, попадись эта неведомая зловещая мисс Барбара нынче своему батюшке под горячую руку, вид у нее, пожалуй, сделался бы еще более плачевным, чем у той измученной, забитой беглянки! Отчего-то мысль сия доставила ему удовольствие и на некоторое время даже почти заглушила неизъяснимый суеверный страх перед наступающей ночью. Да и то сказать, луна неудержимо шла на убыль.

* * *

– ...Я все сделала, как было приказано, о мой господин.

– Не сомневаюсь, Тамилла. Тебе я доверяю всецело. Однако скажи: англичанин и его друг были очень поражены?

– Клянусь, что краски исчезли с их лиц, уподобив щеки белому полотну.

– Ты уверена, что этот русский тоже ужаснулся?

– В его глазах пылала самая горячая жалость. Он был недалек от того, чтобы заключить меня в объятия и утешать, словно плачущую девочку.

– Словно плачущую девочку?! Это отнюдь не то, чего я желал бы для тебя и для него. Заключить в объятия – это совсем другое дело.

– Да, господин мой. Но правильно ли я поняла? Ты хочешь, чтобы я и он...

– Тамилла, здесь нет ничего такого, чего хотел бы я или хотела бы ты, а также нет ничего нежелательного для тебя или меня. Только воля нашей богини властвует над нами, только она ведет нас и вдохновляет. Ты должна сделать все, чтобы русский не просто изменил своему предназначению. Он должен лишиться разума в твоих объятиях! Он должен сделаться рабом твоего лона, ты понимаешь, Тамилла? Один из тех, кого я посылал к тебе – тот несчастный и жалкий франк, который потом принес столь много жертв на алтарь нашей богини, – он говорил мне, что мышцы в твоём влагалище имеют необычайную силу и ты можешь доставить несказанное наслаждение мужчине, даже не делая ни одного движения, только владея своим лоном. Он также говорил: «Мне казалось, будто она взяла мою плоть в кулак и беспрестанно то сжимает, то разжимает его». Какие омерзительные слова, верно? Эти чужеземные твари, которые вползли на нашу землю, даже о наслаждении не могут говорить возвышенно! Да можно ли требовать от них многого? Они принуждают своих женщин восходить на ложе одетыми и совокупаются с ними торопливо, поспешно, едва дав себе труд задрать эти их ночные одеяния, которые столь же нелепы, как и дневные. Впрочем, зачем тратить на них слова и время? Я, разумеется, верю тебе, Тамилла, однако мне хочется знать, какие дивные уроки ты намерена преподать этому русскому. Покажи мне. Представь, что я – это он. Вот ты приближаешься к нему и... и что? Ты начнешь совлекать с него одежды или прежде разденешься перед ним сама?

– Он слаб, мой господин. Я его знаю: он слаб перед искушением женской красотой. Но если ты желаешь убедиться, что я одолею его очень легко, позволь мне показать, где я буду ласкать его и трогать. Вот здесь... Вот здесь, мой господин. В междуножье, легкими касаниями, и я буду вздыхать так, чтобы мое дыхание ласкало его уши. О господин...

– Ляг, Тамилла. Ты все покажешь потом, а сейчас отвори мне лоно твое, да поскорее. Клянусь, или я от долгого общения с англичанами стал так же нетерпелив, как они, или ты и впрямь можешь делать с мужчинами все, что захочешь. Освободи меня, Тамилла, дай излиться в тебя!

– Мое лоно принадлежит тебе, о господин, и я сама принадлежу тебе.

Сабля Сиваджи

Еще не рассвело, когда Реджинальд, полуодетый, с сумасшедшими глазами, ворвался в комнату, где без задних ног храпел Василий (заснуть ему, как обычно, удалось гораздо позднее полуночи!), и сообщил, что прибыли посланцы магараджи Такура, чтобы сопроводить белых сагибов к своему повелителю. Спросонок Василий даже не спросил, что это означает, однако стоило ему выйти на крыльцо, как сердце его упало, а надежда на приятную верховую прогулку разбилась вдребезги. Реджинальд с выражением фальшивого удовольствия уже сажился на деревянное расписное и раззолоченное кресло под балдахином, яркостью соперничавшим с голубым небом, вокруг которого почтительно замерли восемь здоровяков, облаченных в леопардовые шкуры на чреслах и через плечо, в маленьких золотистых тюрбанах. Василий, зачарованно уставясь на них, даже не заметил, как взгромоздился во второе такое же кресло, и едва успел покрепче схватиться за поручни, как другие восемь богатырей, наряженные в шкуры тигровые, подхватили его седалище и с гиком и криком, непременным спутником индусов, пустились бежать со двора по улицам Беназира, все круче забирая на окраину, где дорога сворачивала к горам.

Впереди колыхался голубой зонтик над Реджинальдом. За каждым креслом бежали по восемь человек переменных носильщиков, а всего, включая верховых индусов-стражей, было шестьдесят четыре человека: целая армия, способная шугануть любого леопарда или тигра, буде он отважится сунуть нос на тропу из глубины джунглей. Вся эта шумная кавалькада не способна была спугнуть только бесстрашных родичей царя Ханумана, как называют в Индостане обезьян. Перескакивая с одной ветки на другую, стрекоча, будто сороки, и делая страшные рожи, они летели среди листвы, словно серые призраки, и, забега далеко вперед, поджидали путников на поворотах дороги, будто указывали им путь. Внезапно один младенец-макашка так и свалился на колени Василию! Оба, человек и зверь, с одинаковым изумлением, родственным ужасу, какое-то мгновение смотрели друг на друга, однако мамаша младенчика, бесцеремонно перескакивая по плечам носильщиков, тотчас схватила дитя и, прицепив его к своей груди, исчезла в ветвях гигантского баньяна, скорчив Василию на прощание самую богопротивную гримасу.

Это было наиболее сильным впечатлением трехчасового путешествия. Василию иногда чудилось, что его влекут сквозь некие театральные декорации, так быстро проносились мимо стены джунглей. Миллионы кузнечиков трещали кругом, наполняя воздух металлическим звуком, напоминая гудение губной гармоники; орали на все голоса птицы; стаи испуганных попугаев металась с одного дерева на другое; по временам издали доносилось долгое громоподобное рычание, и тогда Василий против воли покрепче вцеплялся в поручни, ругательски ругая себя за слабость. Это помогало скоротать время... и отвлекало от размышлений.

Его не оставляло странное ощущение, будто не какие-то там слуги неведомого магараджи несут его сквозь джунгли, а некие посланцы судьбы. Всегда, всю жизнь Василий Аверинцев делал только то, что хотел, что сам считал необходимым для себя – кроме, понятное дело, войны, когда был принужден повиноваться приказам, но он знал тех, кто отдавал эти приказы, осознавал их мудрость или ошибочность, мог своим поведением ослабить или даже свести на нет оплошность командира и твердо верил, что никакая пуля-дура не долетит до него случайно, а если он падет на поле боя или в короткой стычке, то лишь потому, что на мгновение ослабит внимание, выпустит вожжи колесницы судьбы из своих рук. Однако индийские приключения, похоже, грозили превратить Василия в настоящего фаталиста! Впервые в жизни он ощутил, что обстоятельства могут управлять человеком – даже таким отважным и дерзким человеком, каким считал себя. Кораблекрушение, а потом это необъяснимое, внезапное появление в Беназире изрядно поколебали устои его самомнения. Со свойственной ему привычкой все для себя разумно объяснять и анализировать, Василий пытался найти объяснение случившемуся, однако в голову лезли суеверные мысли о том, что эта южная страна, пожалуй, враждебна ему, северянину, что она имеет над ним страшную, почти колдовскую власть, бороться с которой он не сможет – не стоит и пытаться! Все чудесное, все волшебное, хранимое в тайниках души в детстве и позднее надежно засыпанное впечатлениями учебы, взрослой, разумной жизни, войны, природной насмешливости, в конце концов, – все это теперь смятенно оживало в нем, и Василий изумленно ощущал, что самые глубинные струны его натуры звучат в удивительном ладу с могучей мелодией покорности воле небес, которой, чудилось ему, проникнут был в Индии самый воздух, каждый луч солнца, каждая пылинка лунного света...

Лунный свет! Василий содрогнулся при этих двух словах, внезапно заливших его память целым океаном серебряного сияния, – и едва не вылетел из своего кресла, потому что носильщики внезапно резко остановились, а над ухом раздался страшный грохот.

Джунглей уже не было и в помине! Путешественники находились у врат дворца, а со стены в честь прибывших стреляли из пушки.

* * *

Выбираясь из носилок, Василий едва успел оглядеться и сообразить, что он стоит перед широким рвом, за которым поднимаются высоченные крепостные стены. Вершины многоярусных башен и вовсе терялись под облаками. Больше разглядывать времени не было: Реджинальд подтолкнул его и зашагал по подъемному мосту, висевшему на таких мощных цепях, что они, чудилось, выдержали бы тяжесть целой армии слонов. Через мгновение Василий понял, что сия гипербола как нельзя более точно соответствовала действительности.

Дорога ко дворцу магараджи, которую каждый гость должен был из почтения к хозяину преодолеть пешком, для начала вела через двор, где находилось сто слонов. Они были привязаны цепями за заднюю ногу к огромным столбам. Все стояли в ряд и лениво переминались с ноги на ногу, отчаянно звеня. Поодаль, за железной решеткой, сидели и лежали семь тигров и пять леопардов. Один из тигров был редкостной красоты: весь белый! Ручные леопарды, украшенные чепраками, были привязаны также у входа во второй двор. Посредине его высился чудовищных размеров бык, высеченный из цельного куска черной скалы, а у подножия сидел совершенно черный ручной гиббон ростом не более двух футов, с шелковистой шерстью, смышленной мордочкой и руками с длинными пальцами, которыми он то и дело всплескивал, крича:

– Ху-хуу!..

В третьем дворе целый строй солдат отдавал честь гостям; играла музыка, толпился народ, одуряюще пахло цветами. Василий едва успел бросить жадный взгляд на стены, сплошь покрытые изображениями фантастических птиц, танцующих красавиц и раджей, восседающих на своих тронах или на слонах, однако Реджинальд вновь подтолкнул его, и Василию пришлось поспешно пройти сквозь нескончаемую массивную колоннаду в тронный зал, в глубине

которого, на величественном сооружении из слоновой кости под пурпурным балдахином сидел магараджа, одетый так, что Василию враз сделалось и смешно от пестроты его наряда, и досадно за собственный скромный белый костюм. Право, малиновый ментик с золотыми галунами, белые лосины, сверкающие тонкие сапоги и чудо-кивер набекрень (с султаном!) пришлось бы здесь как нельзя более кстати.

Магараджа был облачен в сверкающую парчу, сверкающий муслин, сверкающие шелка. Бархатные туфли его были сплошь затканы золотом. Голова так и клонилась под тяжестью жемчужных нитей, обвивавших его тюрбан, и драгоценных камней, нашитых здесь и там. Огромный изумруд свешивался к переносью и блестел, как третий глаз. На шее висел орден, состоящий из жемчужного ожерелья в семь рядов, причем каждая жемчужина была величиной с орех. Руки-ноги, разумеется, сверкали, унизанные браслетами; пальцы не гнулись от перстней, а на мизинце правой руки надет был шапп – серебряная правительственная печать, увенчанная плоским изумрудом не менее чем в пятак величиной.

Растерянно взглянув в смуглое безбородое, удивительно гладкое и пухлое лицо, на котором вокруг губ вилась тоненькая, еле заметная ниточка усов, Василий услышал громко выкликнутое глашатаем:

– Раджа-инглиш Режина! Раджа-руси Васишта! – и принужден был поклониться как можно ниже, чтобы скрыть нервический смех. Пожалуй, раджа-инглиш должен был предупредить друга! И все-таки лучше зваться Васиштою, чем Базилем.

Не успел Василий распрямиться, как ему было сказано: «Кош аменди!»[13 - Милости просим!] – и вручен огромный букет пахучих цветов; на руки были надеты цветочные запястья, на шею – цветочные ожерелья. Василий хотел было отшвырнуть эту гадость, присовокупив, что его, верно, перепутали с какой-нибудь мамзелью, однако увидел каменно-неподвижное лицо раджи-инглиша, тоже убранного цветами, словно невеста, и решил, так уж и быть, стерпеть все эти глупости.

А потерпеть пришлось-таки! Осыпав европейцев с ног до головы цветами, их вдобавок окропили розовой водой и помазали каким-то сильно пахнущим черным маслом. Затем с самым любезным выражением лица магараджа указал на ступени своего трона. Василий решил было, что магараджа требует

коленипреклонения, и вся кровь его закипела, однако Реджинальд с поджатыми губами уселся на ступеньки; пришлось последовать его примеру.

Вдруг кто-то ткнул Василия в бок. Он свирепо оглянулся – и едва не вскрикнул от радости, увидав Бушуева, уже угнездившегося подле трона и в своем роскошном, на манер боярского кафтана, шелковом сюртуке незаметного среди блистательно разряженных слуг с павлиньими перьями, отгонявшими комаров, среди дымящихся курильниц с благовониями, глашатаев, громовым голосом извещающих всех собравшихся о величии, могуществе и добродетели своего повелителя, о его красоте, мужестве, силе...

– Ты, главное дело, не расхохочись, – почти не разжимая губы, посоветовал Бушуев и приветственно подмигнул Реджинальду. – Они, индусы, беда какие обидчивые! А начнет магараджа с тобою говорить – ты не молчи, отвечай обстоятельно.

– Вы, я вижу, знаток! – усмехнулся тихонько Василий.

– А чего ж! – горделиво повел плечами Бушуев. – Магараджа – мужик очестливый, вишь, и Варьку мою привечает.

Василий покосился на него с любопытством. От вчерашней ярости и следа не осталось. Сейчас Петр Лукич явно кичился тем, что и он, и дочь его на короткой ноге с местным царьком. А где она, кстати? Здесь не видно ни одной европейской женщины, только несколько индусок, сплошь увешанных покрывалами, скромно сидят в уголке на ковре, над которым туда-сюда двигается огромный щит, укрепленный посреди потолка и каждым движением своим нагоняющий волны прохлады.

Внезапно одна из женщин поднялась, легко, мелко перебежала зал и склонилась перед Бушуевым. Она с ног до головы была закутана в белое покрывало с золотой каймой. Виднелись только узкие шаровары и ноги, обутые в серебряные туфельки без задников.

Василий взглядом знатока приковался к ее лодыжкам. Они были на диво тонкие, точеные – загляденье. Не часто даже и в самой Франции приходилось видеть такие дивные ножки! Однако странно, почему они лишь слегка золотистые, а не медно-смуглые, как у остальных индусок?

Женщина меж тем склонилась еще ниже и слегка совлекла с лица покрывало. Мелькнул огромный потупленный глаз, бледно-румяная щека, тень длинных ресниц, вьющаяся русая прядь на лбу...

- Ах, чертова кукла! - восхищенно прицокнул языком Бушуев. - Эка вырядилась!

Реджинальд привскочил со своей ступеньки и отвесил некое подобие реверанса и земного поклона: не отважился распрямиться без позволения хозяина.

- Мисс Барбара! - просвистел он восторженно. - Я ни за что не узнал бы вас!

Узкие ладони с длинными, без единого кольца, худыми пальцами сложились в намасте, покрывало вовсе съехало с головы, и Варя взглянула на Василия.

Она смотрела удивленно на незнакомое европейское лицо, он - вприщур, поджав губы так, что Реджинальду и не снилось.

Да... и не скажешь, что этакая злодейка! Но и непонятно, по чему тут вздыхать и томиться Реджинальду. Круглое лицо, твердый маленький подбородок, на котором чуть намечена упрямая ямочка. «Как у меня, почти как у меня», - почему-то удивился Василий. Что еще?.. Высокий лоб, высокие скулы. Рот - как две вишенки; курносенькая, глазастая. Глаза - самое красивое в этом заносчивом лице: дымчатые, туманные, без блеска. Строгие, печальные глаза... и улыбка, тронувшая, расцветившая сухие, напряженные губы, не озаряет их, не заставляет засверкать. Голос тихий, мягкий - непроницаемый голос, точно страж на пути к тайным мыслям! А имя ей не идет. Она никакая не Барбара, не Варвара, не Варя. Она - Варенька. Она...

Василий мысленно выругался: али позабыл, какова она оказалась? И все-таки он не мог теперь называть эту девушку иначе как Варенькой.

- Батюшка, вот и ты наконец, - кивнула она отцу. - Я и заждалась. Прости, что ослушалась, не воротилась в срок. Больше уж перечиться твоей воле не стану...

Бушуев даже крякнул от изумления такой всенародно изъявляемой покорностью. Ткнул в бок Василия, шепнул растерянно:

– Чегой-то она, а? – Но тотчас спохватился, грозно свел брови. – Ну, гляди у меня! Коли что не так... сама знаешь, рука у меня – ого-го!

– Да, – кивнула Варенька и снова потянула покрывало на гладко причесанную русую голову – Василию показалось, не для чего иного, как спрятать улыбку. – Воля ваша, батюшка!

«Да она из него веревки вьет, – мрачно подумал Василий. – И бесился он вчера не с того, что дочка из его воли вышла, а что некому стало веревки вить! А на Реджинальда эта мисс и не глядит, хотя он так и вьется, так и пляшет, будто пескарь на крючке. Знает, как нашего брата держать. Такая могла, да, могла изувечить кнутом, за волосы таскать!»

Эта мысль немного успокоила мстительное, злобное чувство, внезапно вскипевшее в его душе. Да что такое? Чего он-то раззадорился? Неужто его так взволновали страдальческие глаза той избитой рабыни?! Да он и лица-то ее не разглядел, настолько оно все было обезображено кровоподтеками, изуродовано ужасом! Или голос ее тронул – слабый, молящий, страстный?.. Или...

Он не успел додумать. Еще раз легко улыбнувшись отцу, Варенька ускользнула к женщинам, и, когда ее высокая тонкая фигура отдалилась, Василий вдруг ощутил, как его явственно отпустило. Словно и впрямь разжалась тяжелая рука, стискивающая сердце. Стало легче дышать, даже в глазах просветлело.

Внезапно Реджинальд вскочил, делая незаметный знак Василию. Тот тоже встал. Как выяснилось, хозяин решил уделить внимание гостям и занять их разговором. Сначала с вельможной особою беседовали Реджинальд и Бушуев: об их взаимном здоровье, об удовольствии видеть друг друга и о небывало холодной погоде, которая стоит в эти дни. Учитывая, что на дворе можно было в полдень запросто испечься, даже хоронясь в тени, а в самом дворце позволяли свободно дышать только постоянно развеваемые покрывала, можно было подивиться удивительному лицедейству европейцев!

Затем магараджа приступил к Василию.

Здесь выяснилась одна любопытная особенность. Оказалось, индусы никогда не путешествуют просто так, как это делали и делают другие народы. Странствие, предпринятое не по торговым делам и не для богомолья, для них бесцельное

бродяжничество; человека, захватившего к ним бог весть зачем издали, они готовы считать за праздного и чудаковатого богача. А поскольку в Индии почти у каждого богача есть несколько жен и вообще он немыслим неженатым с двенадцати или тринадцати лет, то, весьма естественно, магараджа Такура полюбопытствовал, сколько у Василия жен и оставил ли он их дома или где-нибудь в Индии? Может быть, в Калькутте?

Правдивый ответ Василия: холост, мол, еще! – привел магараджу в сильное недоумение. Реджинальд слегка хмыкнул: очевидно, ему тоже приходилось бывать в схожем положении, – а Бушуев, стоящий недалеко, бросил на Василия откровенно одобрительный взгляд, а потом оглядел его с ног до головы как-то по-новому, оценивающе... Эх, знал бы он, что при виде его разлюбезной дочери Василия охватило одно-единственное желание: оказаться от нее подальше, как можно дальше – желательнее за тридевять земель!

Тут магараджа решил, что его дальнейшее молчание можно считать нелюбезным, и приступил к новым вопросам. Кто кому платит дань: кинг Горги – руси-царю Искандеру[14 - В то время в Англии правил король Георг II, а в России – Александр I.] или, наоборот, Искандер – кингу? Как нужно называть руси-царя: раджадхираджа или падишах? Василий подумал по простоте душевной, что хрен редьки не больно-то слаще, но пришлось уяснить себе: первый титул хотя и значит «царь над царями», но в глазах индуса не так важен, как падишах, ибо только падишаху другие цари платят дань!

Далее магараджа пожелал узнать, есть ли касты в России и какие? Обедают ли руси вместе с инглишами или, подобно браминам, гнушаются сидеть вместе с ними?

Без друга Реджинальда, по обычаю невозмутимого, Василию отродясь не прорваться было сквозь вражеские баррикады без потерь! Ему казалось, что все веера и опахала в зале поникли да вдобавок по углам развели огромные костры. Право слово, весной прошлого года при штурме Парижа было куда как легче! Ему помогало удержаться под вражеской картечью лишь созерцание великолепного оружия, висевшего на стене позади трона: там были огромный лук, колчан, полный стрел, отлитых из золота, и украшенная драгоценными камнями сабля. В конце концов силы его вовсе иссякли, и тогда, рискуя показаться неучтивым, он опередил новый вопрос хозяина и спросил, правдивы ли слухи, будто сабля сия принадлежит самому Сиваджи, а коли так, отчего у нее такая маленькая рукоять, что, кажется, лишь десятилетний ребенок сможет

просунуть в нее свою ладошку? И значит ли сие, что знаменитый герой ростиком не вышел?

Реджинальд, стоявший на шаг позади, со свистом выдохнул сквозь зубы. Бушуев чуть слышно помянул черта.

Полное гладкое лицо магараджи не изменило своего выражения, когда он резким движением, казавшимся неожиданным для его довольно тучной фигуры, вдруг соскочил с трона – и Василию потребовалось какое-то время, чтобы понять: магараджа вовсе не провалился сквозь землю, а стоит рядом, почти вплотную, однако ростом... ростиком он оказался едва ли поболее пяти футов! Да, худую шутку сыграло с Василием высокое седалище трона из слоновой кости, а также эта золоченая подставка под ноги: лавка не лавка, табурет не табурет, чтоб ей сквозь землю провалиться!

По правде сказать, под землю очутиться мечтал сейчас сам Василий. Он почти не сомневался, что чокидары[15 - Чокидар – страж.] магараджи – или как они там зовутся, индийские телохранители?! – сейчас наперебой примутся сносить ему голову и изрубят в капусту еще прежде, чем он моргнет. «Эх, мне бы сабельку хоть какую-нибудь завалященую! – подумал тоскливо. – Пусть бы и рукоять маловата была! Я бы им показал и Васишту, и руси-царя Искандера, и... и Кузькину мать!»

Однако магараджа не спешил отдавать убийственный приказ, а продолжал меланхолически жевать бетель, который ему подавал красавец негр, а другой, схожий с первым, словно брат-близнец, держал урну из массивного золота и подносил ее своему господину, когда тому требовалось сплунуть.

Очередной кроваво-красный плевок отправился в урну, а затем магараджа вдруг улыбнулся так широко и радостно, что рот Василия сам собою разъехался в ответной улыбке.

Однако тут же он сообразил, что радушие высокой, так сказать, особы предназначено вовсе не ему, а кому-то стоящему за его спиной и говорящему мягким, тихим, вкрадчивым голосом:

– Русский гость магараджи Такура не знает о его родстве с великим Сиваджи, вождем и царем махратов, победителем Арзал-хана, с которым он расправился

подобно тому, как Давид некогда расправился с Голиафом!

– Тонкость вашего ума всегда восхищала меня, мэм-сагиб Барбара, – ответил магараджа своим писклявым, будто у дитяти, голоском. – И незнание нашего гостя вполне простительно, тем более что не только ему, но даже вам, наверное, неизвестно, что одержал свою победу Сиваджи не пращой, как Давид, и даже не этим прекрасным мечом, а страшным махратским вагхнаком, которое сделало его и впрямь маленькую руку поистине неуязвимой.

– Вагхнак? – повторила Варенька, подходя поближе. Василий ощутил ее присутствие как болезненное прикосновение к открытой ране. – Я думаю, никто из нас не знает...

– Не стоит говорить за всех! – сухо перебил ее Василий. – Вагхнак – это перчатка с железными когтями. Англичане так и зовут ее: tiger's claw – тигриные когти. Зверское оружие, однако его светлость прав: вагхнак делает своего обладателя почти непобедимым!

– Вы вновь ошиблись, мой дорогой гость, – с лучезарной улыбкой повернулся к нему магараджа. – Хотя я высоко оценил ваше знание такой редкости, как вагхнак, суть вовсе не в его железных когтях, рвущих тело противника до крови. Сила, великая сила Сиваджи, моего предка, крылась именно в его руке! Не угодно ли обменяться со мною рукопожатием, столь принятым у вас, иноземцев?

Он протянул свою крошечную, почти детскую ладонь. На вид она была мягкая и розовая, однако Василий почему-то замешкался. Вон сколько перстней на пальцах магараджи! А что, ежели один из них позаимствован у Цезаря Борджиа или его индусского родича? Нет, у магараджи припасена про русского медведя какая-то хитрость, и, прежде чем, не зная броду, соваться в воду, надобно...

– Силою желаешь помериться? – Отпихнув Василия плечом так, что он едва устоял на ступеньках, к магарадже приблизился Бушуев, поглядывая на него со снисходительностью слона, коего вызвал на поединок тот самый крошечный гиббон, который кричал «Ху-хуу!» возле статуи черного быка. – Изволь! – И он накрыл ручку магараджи своей клешнятой пятерней.

Далее случилось нечто необъяснимое. Бушуев издал короткий хрип и тяжело затоптался на месте, дергаясь всем телом. Магараджа принужден был схватиться левой рукою за свой трон, чтобы не оказаться вздернутым на воздух, однако пальцев Бушуева он не выпускал – и не спускал с его лица своих лучащихся добротою глаз.

Бушуев перебирал ногами все быстрее, словно намеревался бежать, – и вдруг замер, выдохнув:

– Пусти, гад! Будя... будя!

Сказано сие (с несколькими последующими необходимыми добавлениями) было по-русски, однако магараджа, похоже, понял – Василий мог только надеяться, что понято оказалось не все выражение, а лишь основная часть его. Рука Бушуева была незамедлительно отпущена, однако он все еще стоял в прежней позе, протягивая вперед скрюченную кисть.

– Ну, мертвая хватка! – простонал он наконец со смешанным выражением боли и восхищения, недоверчиво оглядывая ручонку магараджи.

– Да, эта ловкость пальцев передается в нашем роду из поколения в поколение. Существуют навыки, составляющие, так сказать, семейную реликвию... семейную тайну, – с улыбкою пояснил магараджа. – Думаю, сагиб Васишта теперь удовлетворил свое любопытство?

Василий ослепительно улыбнулся, полагая, что русских медведей и слонов сегодня выступало в этом зале довольно. Его так и подмывало попросить магараджу поиграть с ним сабелькой, однако Реджинальд украдкой сделал страшные глаза, и Василий прикусил язык. Ведь гусарская честь не даст ему проиграть бой ни магарадже, ни его чокидарам, или как их там, ни самому Сиваджи, буде он восстанет из праха. А победа может иметь самые плачевные последствия для всех русских: ведь никому не известно, как далеко простирается в Такуре гостеприимство и снисходительность к оплошностям европейцев...

– Всех вас, любезные гости, я приглашаю на обед, – провозгласил между тем магараджа. – Бесконечно жаль, мэм-сагиб Барбара, что обычаи вынуждают нас вкушать сие удовольствие вдали от прекрасных дам, как говорят в Европе. Вас

проводят к моей бегум,[16 - Бегум – княгиня.] однако поверьте, что я посыпаю голову пеплом, ибо русская роза не сможет долее ласкать своею красотой мой взор...

– А по-моему, здесь и без того много роз! – буркнул Василий, мученически дергая свое ожерелье, от аромата которого у него давно уже ломило виски, – и сам изумился, кой черт дернул его за язык. Вдобавок тот же черт подсунил ему именно слова на хинди. Добро бы уж по-русски...

Реджинальд опять отчетливо скрежетнул зубами, Бушуев опять сердито крякнул, и Василий с раскаянием подумал, что эти звуки сегодня начинают входить у его приятелей в привычку. Ну что он делает, дурак?! Он-то здесь – птица залетная-перелетная, а им здесь еще жить да жить, в этом Индостане, и неведомо, каково сильно он навредит им своей дуростью, своей привычкой ляпать несусветное. Но разве он виноват, что присутствие бушуевской дочери злит его безмерно, раздражает до того, что все здесь перемолотить вдребезги хочется? Он... он ненавидел ее, Василий вдруг осознал это! Ненавидел ее голос, тихое дыхание, это манерное, вычурное подражание индускам, эту одежду, которую ни одна приличная женщина на себя не наденет, ненавидел ее за то, что своим вмешательством она, очень может быть, спасла ему нынче жизнь. Да не желает он ей ничем быть обязанным, этой... этой Салтычихе! И плевать ему на то, что никак, ну никак не могла она вчера избивать ту злополучную рабыню, ибо уже несколько дней гостит у магараджи Такура. Не вчера, так прежде избивала. Иезавель! Иродиада! А этот толстячок заливаётся соловьем: роза, мол, русская роза!

– О, роза – мой любимый цветок, – дружелюбно улыбаясь и как бы цепляясь за смятенный взгляд Василия своими блестящими черными глазами, болтал между тем магараджа. – Не лотос, как у большинства моих соплеменников, а именно роза! Говорят, что красивейшая на свете женщина, богиня Лакшми, появилась на свет из бутона лотоса, но я слышал – и верю в это! – что она родилась из распускающегося, состоящего из ста восьми больших и тысячи восьми мелких лепестков бутона розы. Вишну, охранитель Вселенной, увидев эту обворожительную красавицу, укрывавшуюся в своей прелестной розовой колыбельке, столь был увлечен ее прелестью, что разбудил ее поцелуем и сделал своей супругою. С этой минуты Лакшми стала богиней красоты, а укрывавшая ее роза – символом священной божественной тайны. Вы знаете, друг мой, что розами устилают путь процессиям. Таким образом на них призывают благословение богов. А по древним законам каждый, кто приносил

магарадже розу роз, мог просить от него всего, чего пожелает.

– Розу роз? – слышался удивленный голос Вареньки. – Я никогда о ней не слышала. Что это?

– О, это... – Магараджа мечтательно улыбнулся. – Я мог сложить о ней поэму, длиною равную «Махабхарате» и «Рамаяне», вместе взятым, однако все слова мира будут бессильны для описания ее красоты. Никакое слово не заменит одного взгляда. И вы согласитесь со мною, когда увидите ее.

– Она есть у вас? – возбужденно воскликнула Варенька. Покрывало соскользнуло на плечи, но она этого даже не заметила от волнения.

Василий угрюмо взглянул на очерк нежной щеки, круто загнутые, вздрагивающие ресницы. «Салтычиха! – напомнил он себе. – Салтычиха, Иезавель и эта, как ее там...»

Магараджа вдруг облизнул губы, прежде чем заговорить:

– Да, мэм-сагиб Барбара, роза из роз блаженствует в моем саду. И вы будете иметь счастье зреть ее красоту, достойную венчать богиню! Вы и мой русский друг.

7

Роза роз

«Все правильно. Все очень правильно, – билось в голове Василия. – Нас разбивают, потом нападут – и поубивают. Поодиночке вырежут, как мы вырезали посты польских уланов под Минском!»

Реджинальда и Бушуева магараджа в сад не пустил: задержал в тронном зале под предлогом обсудить какие-то важные торговые дела. Оба так обрадовались, что даже не оглянулись на уходящих в сопровождении двух стражников Василия и Вареньку.

«Нас, может быть, в зиндан влекут, – мрачно подумал Василий. – А им лишь бы мощну набить!» Сколько он себя помнил, ему никогда не приходилось считать деньги, поэтому и Реджинальд, и Бушуев сейчас показались ему отвратительными крохоборами.

Сад, по расчетам Василия, должен был начинаться как раз за покоями магараджи: посидел на троне, порешал свои государственные такурские дела и иди нюхай цветочки! – однако их провели через все три двора (обезьян по-прежнему всплескивал ладошками, а слоны переминались с ноги на ногу, то и дело задирая хоботы и оглашая воздух трубным кличем). Затем по узкой каменной лестничке взобрались на крепостную стену и пошли по ее внешнему краю.

Всю дорогу Василий незаметно обрывал свои цветочные браслеты и выдергивал по розе из ожерелья. Это его странным образом успокаивало. «В случае чего скажу: само, мол, развалилось. Сплели слабо, вот и...» К тому времени, как пошли по стене, запястья его были свободны, а на шее висели одни будылья. Сделав вид, что любит окрестностями (они и в самом деле были прекрасны, эти зеленые волны джунглей, припавшие к дальним голубым, хрустально-прозрачным горам, тающим в небесной дали!), Василий как бы невзначай покачнулся – и от этого рассчитанного движения охвостья венка соскользнули с его шеи и полетели вниз, в ров, окружающий крепостную стену.

Темно-зеленая вода вдруг тяжело, масляно колыхнулась, раздвинулась, и длинная, узкая морда выглянула на поверхность. Блеснул маленький тупой глаз... однако зубы, показавшиеся между широко разверстыми челюстями, вовсе не были тупыми! Пренебрежительным движением отшвырнув венки, упавший ему на нос, крокодил издал короткий жалобный крик и вновь погрузился в воду.

Василий очнулся. Стражники нависали над обрывом, скрестив копья, как бы готовые в любое мгновение преградить путь двум иноземцам, буде они восхотят кинуться в ров. А что, ведь решил сагиб-руси пререкаться с самим магараджей – значит, у него вполне достаточно безумия скормить себя крокодилам!

Василий оглянулся. Вареньки позади не было! Его обдало холодом, и только тут он заметил, что держит ее в объятиях.

Его словно бы мечом пронзило! Два желания враз: отшвырнуть ее как можно дальше – и прижать к себе еще крепче, так, чтобы слиться с нею, раствориться в ней! – охватили его, вспыхнули таким костром, что он не мог сказать ни слова, опасаясь, что голос задрожит и выдаст его. И только неуклюже кивнул, когда Варенька отстранилась и виновато шепнула:

– Простите, сударь. Я так испугалась... Ужасная гадость эти твари!

Очевидно, обитатели рва имели на свой счет другое мнение, потому что штук пять, будто по команде, вдруг поползли из воды на кромку травы, окаймлявшую ров. Огромные уродливые тела тускло блестели на солнце.

– Чем их кормят, интересно? Ослушниками вроде меня? – невесело пошутил Василий, не зная, что лучше: если Варенька примет его за труса или заподозрит истинную причину неудержимой дрожи его рук.

Стражник, к которому был обращен вопрос, не ответил. Василий повернулся к другому, однако промолчал и тот, вытянувшись, так сказать, во фронт и сделав стеклянные глаза: мол, не могу знать, ваше благородие!

– Может, я чего не так спросил? – удивился Василий. – Переведите, сделайте милость, вы ведь говорите на их языке побойчее, чем я.

– Напрасно стараться, – улыбнулась Варенька все еще бледными губами. – Они не ответят ни мне, потому что я женщина, ни вам, потому что вы иноземец, а значит, ниже их.

– Вам, быть может, неизвестно, однако войну я закончил полковником, – сухо осведомил Василий.

– В самом деле? – так же сухо выразила удивление Варенька, и Василия всего передернуло от тонкого жала ехидства, промелькнувшего в ее голосе.

Нет, слава богу, она ничего такого не заподозрила в его поведении, оттого и злобствует согласно своей натуре. Теперь, когда она стояла на приличном расстоянии, Василий не мог понять, что могло его так потрясти. Нет, это просто плоть бунтует. Такой же взрыв желания вызвала бы в нем и любая другая

женщина, вдруг оказавшаяся в его объятиях. Ведь последний раз он был с женщиной месяца три назад, еще в Каире... да, жена французского консула, как бишь ее? Жаклин! Распутница, ну распутница!.. С усилием оторвавшись от некоего особенно смелого воспоминания о ее игривых напомаженных губках, Василий переспросил:

- Так почему они не отвечают?

- Видите, на них надеты джанви – ну, шарфы через плечо? – делая вид, что все еще смотрит на крокодилов, сказала Варенька. – Это знак принадлежности к браминам – высшей касте. Брамины не станут терять своего достоинства, разговаривая с каким-то чужеземцем!

- А если бы нашей жизни угрожала опасность? – возбужденно спросил Василий. – Нас что, спасти не стали бы?

- Гость – особа священная. Думаю, они спасли бы нас, однако, чего доброго, после этого покончили бы с собою, ибо осквернили себя и свою касту, – серьезно сказала Варенька.

- Какие-то самураи, прости господи! – пробормотал Василий, который в пути прочел дневники португальского мореплавателя Родригеса, посвященные загадочной стране Ниппон. Привычка самураев то и дело, по надобности и без надобности, делать себе сеппуку, то есть вспарывать живот, привела его в содрогание!

- Да... вы правы! – кивнула Варенька, взглянув на Василия с таким откровенным удивлением, что он едва не зашипел от злости. Эта барышня что думает, он пустой сундук?

- Индусы странный народ. Они абсолютно не похожи на нас. То, что им представляется здравым смыслом, нам может показаться опасным бредом. Самые древние народы Европы – дети, еле вышедшие из пеленок, в сравнении с племенами Азии, особенно Индии... Эти люди обладают мудростью, которой мы лишены. Не скрою, мне иногда страшно здесь.

Она склонила голову. Нежные губы дрогнули, темно-золотистый завиток скользнул по щеке. Василий изо всех сил сцепил руки за спиной. «Как ее там

звали, эту бабу... ну, крепостницу?» – слабо, невнятно пронеслось на окраине сознания.

Стражник нетерпеливо пристукнул копьем, и Варенька испуганным движением поправила покрывало.

– Ох, идемте скорее. Мы совсем забыли про розу, ведь вам еще нужно воротиться к обеду! Позвольте дать совет: за едой нельзя сказать ни слова, а есть надобно только – только! – правой рукой. Иначе вы навлечете на пир целую стаю злобных демонов-ракшасов и приведете в ужас всех индусов. Так что лучше сразу спрячьте левую руку в карман.

– Я попрошу вашего батюшку привязать ее мне за спину, – расхохотался Василий, сворачивая вслед за стражем на узкую лестницу, – и смех замер у него в горле.

Он увидел сад.

* * *

Площадка скалистой поверхности, со всех сторон окруженная глубочайшими пропастями, на дне которых грохотали ручьи, была прикрыта от палящих лучей солнца крепостной стеной, поэтому здесь царил сладостная тень.

Это был необычный сад. Здесь не оказалось жасмина и бабула, белых тубероз, золотистой чампы, цветущей, как алоэ, один раз в сто лет, и всевозможных бальзаминов. Голова не кружилась от запаха, источаемого благовонными деревьями, гвоздичными и гранатовыми.

На этом пятачке, обрамленном одними лишь небесами, владычествовали розы. Их было столько, что листья кустов крылись под изобилием отцветающих, полуувядших лепестков, только раскрывшихся венчиков, напряженных, девственных бутонов. Все оттенки красного цвета, от почти черно-бордового до нежнейшего розового – светлее первого проблеска зари! – и все оттенки белого – от ледяного, снежного, до мягкого, почти кремового, – были собраны здесь, перемешаны, перевиты, переплетены в причудливом, опьяневшем от собственной красоты и аромата хороводе... розовый вздох, обрывок сна, мечта,

воспарившая ввысь – и застывшая меж хрустально-голубым и серо-каменным пространством!

Однако голубым было не только небо. Над огромной, в несколько футов, искусственной розой, состоящей из тщательно подобранных и подстриженных кустов в самом пышном и безудержном цветении, царило бирюзовое чудо. Его восемь крупных, туго закрученных по краям лепестков были светлы на изгибе, но темнели к сердцевине, и холодок бежал по спине, оторопь брала человека, заглянувшего в эту прохладную темно-голубую глубину, как если бы это была драгоценная маргаритана маргаритифера, раковина-царица, хранительница удивительной жемчужины, которая одна стоит полцарства да полкоролевства в придачу.

– Голубая роза! – выдохнул Василий.

– Роза роз! – как эхо, прошелестела Варенька и, оглянувшись на Василия, озарила его светом своих вдруг прояснившихся, засиявших глаз. А потом простерла руку извечным недоверчивым жестом ребенка, желающего потрогать тень, поймать сон, уловить призрак... В то же мгновение раздался изумленный крик, Варенька отпрянула назад так резко, что наткнулась на Василия, – и он едва успел протянуть руки, чтобы подхватить ее бессильно падающее тело.

Остановившимся взглядом Василий какое-то время глядел на ее запрокинутую шею, на которой несколько раз слабо дернулась голубоватая жилка, на повисшую до земли руку и на другую руку, упавшую на грудь.

– Помогите! – хрипло исторгли вмиг пересохшие губы Василия. – На помощь!

Показалось, он кричит оглушительно, так, что эхо катится по горам, сшибая камнепады, с грохотом разбиваясь на дне ущелий. Но никто не кинулся помочь, спасти. Василий с усилием оглянулся – и с ужасом обнаружил, что он один в саду. Он – и бесчувственная девушка. Стража исчезла!

Он опять суматошно осмотрел Вареньку. Лицо ее мгновенно сделалось бледным, восковым. Губы тоже побелели, светлые ресницы теперь казались черными. Две крошечные, едва кровоточащие царапинки змеились по кисти, и прошло не менее минуты, прежде чем до Василия дошло, что значат эти ранки и что

случилось с Варенькой.

Ее укусила змея!

Она коснулась цветка, и змея, хранительница этой опасной красоты, наградила ее мгновенной смертью!

Перехватив отяжелевшее тело одной левой рукой, так что голова Вареньки завалилась ему на плечо, Василий правой рукой выхватил из-за пояса небольшую трость, стек, называемый в Индии шабуком (Реджинальд поигрывал этим стеклом с небрежной элегантностью, а Василия раздражала ненужная ноша, поэтому он и заткнул ее за пояс, будто короткий клинок), и наотмашь хлестнул по кусту.

Он вложил в удар всю силу... Голубая роза слетела со стебля, как голова маркизы на гильотине, а Василий все хлестал ветви, стебли, кусты, лепестки, бутоны, силясь поразить что-то темное, тугое, тускло-блестящее, что сквозило там, в тенистой глубине.

Оно не шевелилось, неподвижно лежало. Василий отшвырнул шабук, сунул руку в куст, содрогнулся, когда шип вонзился под ноготь, но все было неважно, чепуха, окажись это даже змеиный зуб; нашарил холодную, толстую, омерзительную до содрогания веревку – выхватил!

Она вытянулась в его поднятой руке чуть ли не до земли: кобра. Кобра... Тугое темное тело исхлестано, капюшон – тоже, голова переломлена ударом, вдобавок по углам капюшона несколько зияющих дыр, словно Василий проткнул их острием шабука.

«Вот те на! – мелькнула мысль. – Лихо я ее...»

И, разжав пальцы, он в то же мгновение забыл о кобре, схватил Вареньку обеими руками, затряс, окликаая, шепча ее имя, крича во весь голос.

Она не отзывалась, и Василий заметил, что голубая жилка на шее больше не бьется.

– Ох, нет! – попросил он жалобно, словно дитя, – и закричал, забился, с силой встряхивая бессильное, отяжелевшее тело: – Нет, нет, не надо!

Он был один в розовом саду, один над серыми пропастями, под голубым небом. Никто не откликнулся ему, да ему и не нужен был никто в мире. Только бы эта русая головка, скатившаяся на его плечо, шевельнулась, эти ресницы дрогнули, эти губы вздохнули!

– Господи, Господи! – твердил он отчаянно, как в бреду. – Не надо, Господи, оставь ее мне!..

И словно молния пронзила Василя, когда чья-то рука легла ему на плечо.

* * *

Он был один в саду, он знал это; пустота окружала его; и он не удивился бы, когда б увидел некую длань, простертую из бесконечности, из пустоты вселенской... однако перед ним стоял человек.

Индус в белых шароварах, в белом тюрбане выхватил Вареньку из рук Василя так ловко и стремительно, что он даже не успел воспротивиться. Да какое там – он и моргнуть не успел, а девушка уже лежала на траве. Индус прикладывал к ее руке – Василий решил, будто ему чудится, – нечто похожее на черный оникс с белой крапинкой посередине. Камешек словно бы рванулся из длинных смуглых пальцев и мгновенно пристал к царапине.

Василий смотрел, смотрел... Краем глаза он мог видеть, что незнакомец повернулся к нему, темный взор скользил по его лицу, однако не мог заставить себя оторваться от того, чтобы смотреть на Вареньку: это зрелище сейчас было самым важным во всей его жизни – единственно важным!

Вся плоть, вся кровь его пылали. Он стиснул зубы, чтобы не дать прорваться стону, и с ужасом думал, что не иначе индийские боги или демоны прокляли его. Она умирала у него на глазах, а он только последним усилием рассудка удержал себя от того, чтобы не завладеть ее бесчувственным телом, насыщаясь им бессчетно. Его оправдывало лишь одно: он мечтал вдохнуть в нее жизнь этим порывом внезапной, необъяснимой страсти!

Вдруг камушек скатился с бледной руки, и Василий вздрогнул так, что даже покачнулся.

Она... нет, ему кажется! Нет, она вздохнула! Она дышит! Щеки еще бледные, однако заря вернувшейся жизни уже осветила их. Губы... Василий прижал сердце рукой. Губы дрогнули! Она что-то говорит. Он склонился, пытаюсь разобрать невнятный шепот; сквозь звон крови в ушах долетел шелестящий звук:

- Аруса... Аруса...

Василий выпрямился, ругательски ругая себя за дурость. Всего-навсего слово древнего санскрита, означающее солнце, пламень. А с чего он взял, что Варенька, едва вернувшись к жизни, должна прошептать его имя?! Чтобы поблагодарить за спасение? Но ведь не он спас ее, а этот незнакомый индус. Вот уж воистину – явился, подобно молнии, посланник богов, поразил зло, спас красавицу... Стоп, да где же он?!

Василий оглянулся, потом суматошно вскочил:

- Ты где? Да где же ты?!

Никого. Опять розовая, серая, голубая пустота вокруг – и ни одной живой души. Нет, но не мог же он... Лестница, ведущая на крепостную стену, прямо перед глазами Василия, он бы непременно заметил, если бы неведомый спаситель поднялся туда. Не в пропасть же он бросился! Не сквозь землю же провалился, в самом-то деле! Или бесконечность поглотила его так же внезапно, как породила?!

Василий невольно вскинул руку для крестного знамения – и тотчас опустил ее, потому что на лестнице появились два знакомых стражника. Их раскрашенные лица остались совершенно непроницаемыми при виде встревоженного иноземца и белой мэм-сагиб, простертой на траве.

- Сукины дети! – приветливо сказал Василий. – Сволочи! Где вас черти носили, браминское отродье?!

Что-то зашелестело внизу, как бы звякнуло хрустально. Василий рассеянно глянул.

Варенька пыталась засмеяться! Она была еще очень слаба, едва шевелила губами и все же пыталась рассмеяться!

Василий рассеянно улыбнулся в ответ и сердито подумал, что если уж чертовы стражники так замешкались, то не могли они, что ли, помешкать еще пару минут? Тогда Василий, быть может, успел бы коснуться этих зарозовевших губ...

Впрочем, нет. Невозможно! Почему-то теперь, когда она смотрела на него, это было совершенно невозможно!

– Ну что, лучше вам? – спросил он как мог неприветливее. – Вот и слава богу. Сами сможете идти или понести вас? – И нагнулся, чтобы спрятать глаза... а заодно поднять камушек, этот загадочный оникс, закатившийся в траву.

* * *

– Сказать по правде, я думал, что это ваш садовник, – пояснил Василий. – Он был по пояс обнажен, белые шаровары, белая чалма – очень маленькая, а в ней какое-то синее перо. Вроде бы павлинье. Он, кажется, молод, красив... Впрочем, я не разглядел толком.

– Среди моих садовников нет такого человека, – покачал рогообразным малиновым тюрбаном, украшенным пучком аистовых, очень красивых перьев, магараджа. Он успел переодеться после торжественного приема, и сейчас на его полном смуглом теле была дария – юбка из богатой атласной полосатой материи да белая кисейная рубаха. Однако скромность наряда искупали десяток золотых браслетов, пяток увесистых цепей, бриллиантовое кольцо, полсотни колец на всех пальцах рук и ног...

Впрочем, все это сверкающее изобилие не могло вернуть живые краски в его лицо. Услышав о том, что случилось с Варенькой, он издал какое-то невнятное, сдавленное восклицание и оцепенел с полуоткрытым ртом, до того побледнев (точнее, позеленев, ибо индусы бледнеют именно таким образом), что Василию почудилось, будто любезный хозяин сейчас рухнет без чувств. Не исключено,

однако же, что в столбняк и бледность его повергло сообщение о гибели голубой розы, которая больше не «блаженствовала» на своем искусно воздвигнутом пьедестале, а валялась в траве – исхлестанная тростью, полураздавленная чьей-то неосторожной ногой. Непонятно почему, Василий испытывал к ни в чем не повинному цветку такое же отвращение, как к змее-убийце. Очевидно, магараджа понял это, и баснословное восточное радушие не позволило ему упрекнуть гостя, уничтожившего его первейшее сокровище.

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

Название жителей северной Индии, перешедших в мусульманство, и вообще всех мусульман.

2

Коренное население южной Индии, исповедующее индуизм.

3

Жест приветствия и прощания.

4

Распространенное на побережье Индии небольшое ходкое судно с одной-тремя мачтами и треугольными парусами.

5

Разные ипостаси одной и той же богини.

6

Зеленым сукном обычно обивали карточные столы.

7

Пария – в переносном смысле отверженный; в буквальном – представитель самой низшей касты: неприкасаемых.

8

Легендарный герой Индии, остановивший в XVII в. продвижение войск Великого Могола на юг полуострова.

9

Цветные полосы на лице индуса обозначают касту, к которой он принадлежит.

10

То есть всеми богами индуизма.

11

Pater family (лат.) – отец семейства – выражение для обозначения очень почтенного человека.

12

Старинное название соленого коровьего масла.

13

Милости просим!

14

В то время в Англии правил король Георг II, а в России – Александр I.

15

Чокидар – страж.

16

Бегум – княгиня.

Купить: <https://telnovel.me/elena-arseneva/lyubovnik-bogini>

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)